



ГЕНРИ ЛАЙОН
ОЛДИ

Сильным можно завидовать.
Сильных нельзя задевать.

СИЛЬНЫЕ

Книга II. Черное сердце

Генри Лайон Олди

Черное сердце

Серия «Сильные», книга 2

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22048914
Черное сердце: Азбука-Аттикус; Москва; 2016
ISBN 978-5-389-12306-9

Аннотация

Тебя зовут Юрюн Уолан, Белый Юноша. Ты родился богатырем. А что? Обычное дело. Не ты первый, не ты последний. Твою невесту похищает великан из Нижнего мира, твою сестру похищает младший брат великана, тебе же предлагают в жены сестру похитителей – скорее чудовище, чем женщину. Семейная сага, говорит зрячий слепец Сарын-тойон. Она куда опаснее, а главное, подлее любых сказаний о подвигах. Ты убедишься в этом на своей шкуре, богатырь.

Новый роман Г. Л. Олди «Сильные» приглашает читателя в Трехмирье героических сказаний народов Севера, где за ожившими легендами древности встает призрак «теории времени» академика Козырева – живой легенды нашего века. «Черное сердце» – вторая, заключительная книга романа.

Содержание

Часть третья	5
Пролог	5
Песня первая	18
1. Так, не так и мы, бездельники	18
2. Можно?	22
3. Солнышко в тени	26
4. Боотурская весна	33
5. Услышу. Приду	39
Песня вторая	47
1. Абытай-халахай!	47
2. Я не шаман, и бубна у меня нет	55
3. Успеешь еще запачкаться	63
4. Рассказ Айталын Куо, Красоты	70
Неописуемой [14], младшей дочери Сиэр-тойона и Нуралдин-хотун, о ее похищении одним дураком	
Песня третья	77
1. Дорога в Нижний мир	77
2. Муус-Кудулу	83
3. Смеху-то!	88
4. Паучий колодец	93
5. Рассказ Айыы Умсур, Вышней Удаганки, старшей дочери Сиэр-тойона и Нуралдин-	97

хотун, о трех золотых волосках ее отца	
Песня четвертая	109
1. Два калеки, три твари и кто-то шестой	109
2. Рассказ Айталын Куо, Красоты Неописуемой, младшей дочери Сиэр- тойона и Нуралдин-хотун, о ее похищении одним дураком (окончание)	114
3. Рассказ Айыы Умсур, Вышней Удаганки, старшей дочери Сиэр-тойона и Нуралдин- хотун, о великой битве Нюргуна Боотура Стремительного с Эсехом Харбыром, Хозяином Трех Теней	118
Песня пятая	138
1. Рассказ Айыы Умсур, Вышней Удаганки, старшей дочери Сиэр-тойона и Нуралдин- хотун, о великой битве Нюргуна Боотура Стремительного с Эсехом Харбыром, Хозяином Трех Теней (продолжение)	138
Конец ознакомительного фрагмента.	140

Генри Лайон Олди

Черное сердце

Пусть расширится твоя голова!

Пусть будет стремительным твой полет!

«Нюргун Боотур Стремительный»¹

Часть третья

Брат без брата

Пролог

Земля раскололась, но это случилось позже.

– Нет!

– Да!

– Нет!!

– Да!!

– Нет!!! Тысячу раз нет!!!

Жаворонок была девушкой благоразумной; вернее, стала благоразумной с недавних пор. Она зажала уши ладонями. Близнецы, случается, заранее предчувствуют действия и поступки друг друга. Вот и сейчас легкие девичьи ладо-

шки вспорхнули двумя птичками, легли на розовые, изящно выгнутые ушки и прижались тесно-тесно за миг до того, как один не слишком благоразумный юноша изменился. Кюн Дьирибинэ, а для семьи просто Зайчик – прозвище, которое он ненавидел – стал выше ростом, шире в плечах, глупее лицом и стократ громче голосом.

– Ого-го! – откликнулось эхо за рекой. – Басах-тасах²!

Ага, шепнули ушки ладошкам. Спасибо, вы спасли нас от глухоты.

– Нет-нет-нет!!! – сыпались камни с гор.

А мы в домике, хихикнули ушки. Не слышим. Они вдали, эти хитрые ушки. Звук вопля раскачивал Осьмикрайнюю, как неуклюжие мужские руки – детскую колыбель. Толкался в подошвы сапог, дрожал в животе испуганным щенком. Тихо, маленький, не бойся! Спи-засыпай, чш-ш...

– Ну ладно, – согласился Зайчик позже, когда он усох, а тишина вернулась. – Пусть будет да. Тысячу раз да! Я сначала женюсь на Айталын, а уже потом уеду совершать подвиги.

– Уедешь?

– Да!

– Нет.

– Да!!

– Нет!

– Да!!!

Все повторилось: ушки к ладошкам, эхо за рекой. Правда,

² Вульгарное выражение. Нервный вскрик при неожиданном испуге.

теперь к эху добавился треск: река намекала на скорый ледоход. Еще вчера – заснеженная пустошь, где ветер наметал сугробы, похожие на волны, сейчас река шумно завидовала небу. В прогалинах серых облаков, радуясь весне, уже блестя голубые полыньи, и вода рвалась им навстречу. Грозил взломать хрупкую корку, ринуться по течению бешеным паводком, затапливая берега. Синяя, как сталь, вода закачает косяки льдин, обгрызет их по краям, проглотит без следа. Был воин в доспехе, стал воин голый, в чем мать родила, и неизвестно, который страшнее, сильнее, яростней.

– Уеду, – с упрямством повторил Зайчик. – Женюсь, сделаю Айталын ребеночка и сразу уеду. Она будет сына воспитывать, а я – врагов убивать. А почему ты считаешь, что я никуда не уеду?

– Я?

– Ты!

– Я?!

– Ты!!!

– Я такого не говорила, – Жаворонок рассмеялась. Смеющаяся, она была чудо как хороша. А уж если ей удавалось довести брата до белого каления, так девушка и вовсе превращалась в красавицу. – Я всего лишь спросила: «Уедешь?» А потом ты орал «Да!», а я тихо отвечала «Нет...»

Зайчик фыркнул:

– Да ну тебя, вредину! Думаешь, одна ты знаешь, что я скажу, когда я еще и рта не раскрыл? Давай, отвечай! Почему

я никуда не уеду после свадьбы?

– Это сложно для твоего боотурского ума. Но я попытаюсь. Почему ты прямо сейчас не уехал за подвигами?

– Потому что хочу жениться на Айталын!

– А почему ты не уехал раньше, полгода назад? Когда ты еще не хотел жениться на Айталын? Когда Айталын...

– Что Айталын?

– Ничего.

Жаворонок пожевала губами, с которых едва не сорвалось убийственное: «Когда Айталын еще не хотела женить тебя на себе!» И вернулась на менее опасную дорогу:

– Так чего же ты не уехал раньше?

– И ты еще спрашиваешь? Меня папа не пускал!

– А после свадьбы пустит?

– А после свадьбы я сам себе хозяин! Человек-мужчина!

– Значит, не пустит, – с беспощадностью боевой колотушки, прилетевшей кому-то в лоб, подвела итог Жаворонок. – А Айталын тебя пустит? За подвигами, а?

– Конечно! Я же ей ребеночка сделаю! Будет его носить, рожать, кормить... Зачем ей я? Только обуза...

– Ты-то зачем? Носить тебя, – Жаворонок размышляла вслух, загибая пальцы. – Рожать тебя. Хорошо, рожать не надо. Зато кормить! Одевать! Мыть! Обстирывать! И все это с ребеночком в животе. Точно, обуза. Я бы отпустила. Я бы пинками выгнала! Езжай, любимый, авось шею свернешь! Но я – не Айталын. Она тебя и с дюжиной ребятни в животе

на цепь посадит. Зря, что ли...

– Что зря? Что?!!

Жаворонок прикусила язык, который, гад этакий, чуть не брякнул: «Зря, что ли, она тебя на себя женила?» И похлопала брата по могучему плечу:

– Не зря. Ничего не зря, Зайчик. Всё в самую меру. Итак, раньше тебя не отпускал за подвигами только папа. Теперь тебя будут держать двое: папа и жена. Затем трое: папа, жена и твой сын. Кстати, а почему сын?

– А кто? – изумился Зайчик.

– Например, дочка. Любишь дочек?

Зайчик скривился так, что Жаворонок согнулась от хохота в три погибели. Резь под ложечкой, голова кругом, дрожь в обмякших коленках – по всем признакам хохот напоминал внезапный приступ болезни. Казалось, девушка с разбегу прыгнула из весны ранней в весну позднюю, заблудилась в зарослях болотного багульника, запуталась в ржавых ветвях, похожих на скрученный войлок, надышалась ядовитым дурманом. Эй, бегом назад, на свежий ядреный воздух! И трижды подумай перед тем, как шутить с братом новые шутки! Вдруг хи-хи да ха-ха – не самое страшное, что может приключиться с тобой?

– Ладушки, – кивнула она, успокоившись. – Сын, сын, кто же еще? Схватят тебя в шесть рук – вырвешься?

– В шесть глаз, – мрачно пошутил Кюн Дырибинэ. – Папа меня глазами держит.

– Вот-вот! Папины глаза держат. Глаза Айталын слезами заливают. Сыночек моргает, глазенки блестят. Ну как, бо-отур? Хватит сил освободиться?

– Гадюка ты, – буркнул Зайчик. – Подколодная.

И вдруг воспрял:

– А ты, ты сама! Кто за Юрюна замуж выходит? Кто бегом бежит, спотыкается! Сыграем две свадьбы, сделает он тебе ребеночка... И уедет за подвигами! А я вместе с ним! Вместе мы от кого хочешь вырвемся!

– Вместе?

– Вместе!

– С Юрюном?

– С Юрюном, – в голосе Зайчика поубавилось уверенности. – А вы с Айталын останетесь детей нянчить...

– С Юрюном, значит? – гнула Жаворонок свое. – И с Нюргуном, да?

– А куда его девать? Он же телок безрогий! От брата ни на шаг! Придется брать с собой. Ничего, мы его живо к делу приставим! Он хоть и тупой, а здоровенный! Мы с Юрюном врагов бьем, Нюргун добивает! Тресь-тресь, бац-бац! Кырык! Вечером Нюргун костер разводит, мясо нам варит, похлебку...

– Из врагов?

– Почему из врагов? Мы тебе что, адьяраи какие-нибудь? Отберем у врагов добычу, из нее и сварим что-нибудь...

Зайчик огляделся: в свисте ветра ему почудилась дуд-

ка. «А что? – сказал бы на месте Кюна помянутый раньше Юрюн. – Обычное дело!» Увы, для юного Кюна Дырибинэ, сына Сарын-тойона, дудка если и была делом обычным, то уж точно делом ненавистным до колик в печенке. Дудка – значит, отец. Отец – значит, запрет на вожденное боотурство. Усохни, пела дудка. Никаких подвигов, пела дудка. Сиди дома, мелкий-мелкий, сопи в две дырки – вот что она пела, эта пакость-дудка. Иначе хуже будет! Поймав взгляд сестры, прочитав в нем понимание – и сочувствие, будь оно проклято! – парень выпятил грудь. С вызовом подбоченился: ерунда! Вот он я, Кюн-боотур, человек-мужчина!

Зачем я над ним издеваюсь, подумала Жаворонок. Зачем? Втыкаю иголки, дергаю, щипаю. Я что, получаю удовольствие от его бешенства? Он женится на Айталын, я выйду замуж за Юрюна. Все хорошо, все расчудесно. Что же я за дрянь такая? Мучаюсь сама не пойми от чего, терзаю брата... Мы же только что вернулись от Юрюна! И папа с нами ездил. И Кюн не боотурствовал; ну, почти. Вел себя достойно: на охоту ходил, при разговоре кивал. С Нюргуном палку перетягивал³. Зря, конечно. Потом злой ходил, чернее ночи. Палку сломал, доску сломал. Пошел коновязь ломать – Юрюн догнал, успокоил. Сказал: я тоже Нюргуну проиграл. Ему и Мюльдюн-бёгё проиграл, когда прилетал. А я, значит,

³ Мас-кырсы, или мас-тардыхы – вид борьбы. Соперники садятся друг напротив друга, опираются ногами в доску, руками берутся за общую палку и начинают тянуть.

и Мюльдюну проиграл. С тобой так вообще не сяду. Посади Айталын, я и ей проиграю. Слабак я, вот беда. Кюн развеселился, плясать начал. Прибежала Айталын, дала ему подзатыльник – «Дурак! Чего топаешь?!» – он еще больше развеселился, тем дело и кончилось.

А вечером...

Кровь бросилась в лицо Жаворонку. Я не хотела подслушивать, крикнула она кому-то далекому, кто мог бы простить. Правда, не хотела! Само вышло, нечаянно. Вы же знали! Знали, что я в комнате! Да, под тремя одеялами. Да, сплю. Ну, вроде как сплю. Забыли про меня? Может, и забыли. Надо было встать и уйти. Может, и надо. Почему я не встала? Почему не ушла? Дрянь, дрянь, дрянь.

«Зайчик, – сказал папа. – Мне все труднее его удерживать. Ты спроси меня, на кого он похож. Нет, ты спроси!»

На кого, спросил Юрюн.

«На Уота. Близнецы, клянусь!»

Чепуха, сказал Юрюн. Ни капельки не похож. И глаз две штуки.

«Ты его не видел. Я про Уота – ты не видел, каким он был. Третий век назад он слушался меня. Плохо, через пень-колоду, но слушался. Усохни! – он и усыхал. Потом перестал. А сейчас, небось, вообще не разберет, о чем я ему талдычу.»

Ну и что, спросил Юрюн. То Уот, а это Кюн.

«Балбес ты, дружок, – сказал папа. – Уот меня слушался и перестал. Кюн меня слушается и однажды перестанет. А

я понятия не имею, как этому помешать. После Кузни – я про вторую поездку – он вообще замкнулся, на контакт не идет...»

Куда не идет, спросил Юрюн. На что не идет?

«Не важно. Я еще удерживаю сына от лишнего боотурства, но это скоро закончится. Боюсь, он сорвется. Пойдет вразнос...»

Зайчику трудно, сказал Юрюн. Его надо понять. Ты пойми его, дядя Сарын.

«Но тебе ведь не трудно! – папа уже кричал. – Вот ты! Почему ты усохший ходишь, не жалуешься? Почему?!»

Я слабак, признался Юрюн.

«Это ты Кюна успокаивай! Слабак он...»

Да, слабак, упорствовал Юрюн. Ты просто не видишь, дядя Сарын. Я не рвусь боотурствовать, я быстро усыхаю. Я делаю это своей волей, потому что слабак.

«Своей волей, – повторил папа. В горле его клокотало, будто Сарын-тойон полоскал глотку лечебным отваром. – Своей волей, потому что слабак. Дружок, ты не устаешь меня удивлять...»

А ты не перебивай, сказал Юрюн. Дай закончить. Наш Зайчик...

Он так и сказал, подумала Жаворонок. Наш Зайчик. Мне было жарко-жарко, и вдруг стало тепло-тепло, спокойно-спокойно, как если бы он говорил обо мне, а не о моем брате.

Наш Зайчик, продолжил Юрюн, делает то же самое, что и я. Но он это делает по твоему приказу, дядя Сарын. Ты глыбой лежишь на нем, мешаешь встать, расправить плечи. Ты вообще понимаешь, слепой дядя Сарын, что значит для боотура – жить по приказу? Жить, не сопротивляясь? В плену? Даже если твой сторож – твой отец? Это невыносимо. Я удивляюсь, почему Зайчик еще не взбунтовался. Наверное, он очень любит тебя. Отпусти его, а? Если любишь, отпусти.

«Будет беда, – сказал папа. – Если отпущу, будет беда.»

Если не отпустишь, сказал Юрюн, тоже будет беда. Парень вырос, и надо выбирать из двух бед. Отпусти, а? Хотя кто я такой, чтобы тебе советы давать?..

«Слабак? – улыбнулся папа. – Или железный столб? Ось миров, а? От земли до неба?»

Шутишь, отмахнулся Юрюн.

«Шучу? – папа сделал вид, что обиделся. – К кому Нюргун привязан? Ко мне или к тебе? Ты для него и брат, и отец, и спаситель-освободитель. Тот, кто не бросил. А сказать тебе, дружок, что Нюргуну пока еще невдомек? Он всю жизнь был прикован к оси миров, он и сейчас к ней прикован. Просто ось изменилась. Ты – его ось, он – твой пленник. С таким-то безграничным доверием, и не пленник? Ты не освободил его, ты его переприковал. Как тебе такой оборот: переприковал? Перевел коня от одной коновязи к другой...»

Злой ты, сказал Юрюн. Злой ты сегодня, дядя Сарын. Ну тебя в задницу.

«Ты можешь послать его в задницу, — подхватил папа, — и он пойдет. Ты способен заставить его делать все, что угодно. Не расширяться, даже если этого требует его природа; терпеть боль и оскорбления; толкнуть на любой поступок. Нюргун абсолютно подчиняем и управляем, но подчиняется он одному человеку в мире, управляется одним-единственным человеком. Больше никому он не позволит обуздать себя, помня плен. А тебе он позволит все. Ну почему, почему мой сын другой? Почему он не разрешает мне то, что разрешает Нюргун тебе? Насколько было бы проще...»

Мне теперь что, спросил Юрюн. Гнать Нюргуна прочь? Самому уехать? Освободить брата от себя?! Подарить тебе Нюргуна взамен сына?! Что ты предлагаешь?

«Ничего, — вздохнул папа. — Пойду я.»

В задницу, спросил Юрюн.

«В постель. Поздно уже, спать пора...»

Ты ошибся, папа, подумала Жаворонок. Ошибся насчет Нюргуна. Из старого плена в новый? Добровольного плена не бывает. Такой плен зовется дружбой или любовью. Если выбрал сам, значит, ты не в плену, а на свободе. Уж я-то знаю! Нюргун выбрал, он свободен. Я выбрала, я свободна. Зайчика заставили, он в плену. Вот и рвется из пут...

– Ты чего молчишь? — спросил Кюн.

– Мечтаю. О твоих подвигах.

– А что? И совершу!

– Совершишь. И вернешься домой.

– И вернусь!

– А дома – папа. Слышишь дудку?

Позже Жаворонок никак не могла вспомнить: сначала она испугалась, а потом Кюн закричал – или наоборот, сперва был крик, а потом испуг. И что такого она сказала? Ну, подвиги. Ну, папа. Хочешь, значит, уехать? Тогда помни, что дома ждет папа, способный одним взглядом превратить тебя в обезумевший муравейник... Если Зайчик хотел взбеситься, мог бы сделать это раньше, когда сестра обижала его сотней разных способов. Нет, нашел время и место! «Боюсь, он сорвется, – вспомнила девушка слова отца. – Пойдет вразнос.»

Но почему именно сейчас?!

Ледоход, невпопад подумала Жаворонок. Река взломала лед. Вырвалась, стряхнула обузу, грызет льдины клыками, белыми от пены. Да, я слышу. Весна, все хорошо. Как говорит Юрюн? Обычное дело. Картина ледохода – девушка пряталась за нее от итога собственных проказ, как дети прячутся под оленьими шкурами от ночного кошмара.

– Ы-ы-ы-ы-ы!!

Кюн Дырибинэ сделался огромен. Сверкающий доспех, шлем, надвинутый на лоб, копьё грозно воздето к небесам – Зайчик был подобен лосю, готовому схватиться с рогачом-соперником из-за самки. В бессвязном вопле боотура сошлись все звуки боя. Свист меча, хряск кожи под лезвием, хруст сломанной кости. Гул колотушки, упавшей на зеркало

панциря. Визг лопнувшей становой жилы. Звон, хрип, грохот. Падение тела. Удар кулака в скулу. Топот, вой; вороний грай над полем с мертвецами. И мечта, заветная мечта, что все это произойдет, случится, воплотится в жизнь. От этой истошной, громовой мечты содрогнулись горы.

Сюда, звал обезумевший Зайчик. Сюда, ко мне.

Хоть кто-нибудь!

Его слышали, и земля раскололась.

Песня первая

*Эй, кривая рожка,
Кровавая пасть,
Голень – ярмо,
Черный плут,
Гораздый на воровство!
Эй, ты, адьарайский сын,
Клочок убегающих туч!*

«Нюргун Боотур Стремительный»

1. Так, не так и мы, бездельники

- Так!
- Не так!
- Так!
- Не так!
- Дурак!!!

Из угла за нами с опаской наблюдал Нюргун. Супил брови, облизывал губы. Он терпеть не мог, когда мы с Айталын ссоримся. На его круглом, лоснящемся от пота лице прямо-таки отпечаталось знаменитое, тяжелей горы и угрюмей грозовой тучи: «Не люблю!» Если оно еще не прозвучало, так только потому, что Нюргун до конца не был уверен: ссоримся мы взаправду или всего лишь ласково беседуем.

– А мама так делает!

– Нет, не так!

– Так!

– Нет!

– Ну почему? Вот смотри: я налима разморозила?

– Разморозила. А мы его поймали.

– Я поймал, – подал голос Нюргун. – Давно. Люблю.

– Ну хорошо, – согласился я. – Ты поймал налима...

Я содрогнулся, вспомнив эту рыбную ловлю. Алатан-улатан! Нет, в детстве я тоже, случалось, ловил налима руками. Днем, в летнюю жару, рыба прячется под камнями, корягами, в придонных норах. Ты раздеваешься, лезешь в речку голышом и шаришь в укрытиях. Нашарил? Нырять и хватать добычу за жабры. Если мелочь, один палец в рот, другой – под жабры. Налим скользкий, верткий, иначе его не удержать. Но поздней осенью? В холоднющей воде? Когда река вот-вот встанет, оденется в ледяную броню?! Я ждал на берегу, и то меня бил озноб. А Нюргун плескался, нырял, хватал, выбрасывал на прибрежные камни... И не пустяк с хвостом, а матерущих рыбин весом с трехлетнего мальчишку! «Вылезай! – кричал я ему. – Простудишься!» Он хмурился, уныло шлепал на мелководе. Вылезать ему не хотелось, но мое слово слишком много значило для Нюргуна. «Ладно, – сдавался я. – Возьми еще парочку, и хватит...»

– Ты поймал, я заморозил. А ты, сестричка, разморозила.

И решила сварить балхай⁴. А что? Обычное дело. Отрубила ты налиму голову, вынула потроха с икрой...

Я содрогнулся второй раз, вспомнив, что значит это безобидное, это смертоносное «решила сварить». Как мы выжили, ума не приложу. «Топор!» – и кухонный топорик свистит у меня над ухом. «Нож, сюда! Живо!» – и остро заточенный нож на лету срезает прядь волос с макушки Нюргуна. «Эй, доска! Да не ты, балбесина! Разделочная доска!» В последний момент я отпрыгиваю, доска краем чиркает меня по щеке и уносится к грозной Айталын-боотурше. Ой-боой! Как же мы, человеки-мужчины, скакали! «Ложка! Ложка с дырками! Миска...» Хрясь, тресь, бряк! Пар столбом, вода кипит, рыба варится. Запах – до Седьмых небес. Папа с мамой, небось, приняхались: «О, чуем! Наша дочка стряпает!» Вот тогда-то Нюргун забился в угол, расплылся в улыбке и заявил: «Люблю!»

Ну, это случилось еще до нашего спора.

– Отрубила! – Айталын подбоченилась. – И вынула!

– И сварила, – кивнул я. – И ложкой размешала.

– Размешала!

– И пестиком растерла. И кости выбросила.

– Выбросила! Как мама!

– Ага, точно.

– И заправочку кисленькую! Остренькую!

⁴ Балхай – наваристая уха из головы, икры и потрохов налима. Едят, как похлебку, но чаще в виде студня.

– И заправочку.

– Так чего ж тебе, чиччику⁵ драному, надо? Садись, ешь!

– Мама, – начал я, наслаждаясь каждым словом, – у нас терпеливая. Она балхай ставит в холодильник. Ждет, пока застынет. А печеночку мама разминает и сверху кладет, горкой. Прямо на студень. Красотища! Мама ждет, не торопится. А ты из котла в миски – хлюп! Ешьте, братики! Обжигайтесь! Бегом сварено, бегом съедено... А еще говорила, что хочешь Мюльдюна побаловать!

– А вот и побалую! Прилетит Мюльдун, ему и остынет. Ему и застынет! Ему с печеночкой! А вы, бездельники, перебьетесь...

– Летит, – сказал Нюргун.

– А ты молчи! – напустилась на него Айталын. – Будешь мне тут! Будешь... Стой!

Нюргун встал.

– Нет, сядь!

Нюргун сел.

– Да что ты скачешь? Ты повтори! Что ты сказал?

– Летит, – повторил Нюргун.

И для верности ткнул пальцем в потолок:

– Мюльдун летит.

– Уже? Ой, я побежала! Я встречать...

И моя драгоценная сестричка опрометью выскочила за дверь. «Доха! – услышал я. – Шапка!» Не помню, рассказы-

⁵ Чиччик – прохвост.

вал я вам или нет, но Айталын умудрилась приучить одежду откликаться на зов. Сестра бежит, доха летит вслед, догоняет. Я сколько ни пробовал – ни в какую! Кричу, горло сорвал – хоть бы сапог прискакал, что ли?

– Еда, – Нюргун прервал мои размышления. – Вкусно.

– Смотри, не обварись.

– Горячо. Люблю.

И он сел к столу хлебать балхай. Встречать нашего старшего брата Нюргун, судя по всему, не собирался.

2. Можно?

Облако кружило над домом.

Если верить другим облакам, стоячим, ветра не было во все. Если верить этому облаку, ветер сошел с ума. Или, что вернее, Мюльдюн сошел с ума. По какой причине он наматывал круги над нашей крышей, а не спускался на загодя расчищенное место у крыльца, я знать не знал. Я просто беспокоился. Скажете, зря? Может, и так. Но из всех путей Мюльдюн-бёгё обычно выбирал кратчайший. Ему было проще напролом, чем в обход. И вот на тебе...

– Давай! – надрывалась Айталын. – Дава-а-ай!

И махала рукой.

Мюльдюн не давал. Кружил и кружил, словно шутник-табунщик пристегнул ездовое облако к коновязи ремнем-невидимкой. Эй, Мюльдюн, подумал я. Ты чего? Ты кого-то вы-

сматриваешь? Нюргуна, что ли? Мы с сестрой на виду, значит, Нюргуна. А зачем тебе его высматривать? Болван, ответил мне Мюльдюн. С кем ты разговариваешь? Со мной?! Ты сам с собой разговариваешь. Сам себе объясни, и отстань от меня.

– Дава-а-а-ай!

Облако оставалось в небе.

– Анньаха! Анньаха!

Это Мотылек. И Нюргунов Ворон. Кони ржали в конюшне, приветствуя гостей. За зиму они – кони и облако – привыкли друг к другу, чужали прилет Мюльдюна, радовались. Садись, ржали кони. Чего ты медлишь? Мюльдюн боится, подумал я. Нет, глупости. Нет, боится. Да ну, чепуха. Рядом с Мюльдюном есть кто-то, кто боится? И силач Мюльдюн из-за чужого заячьего сердца гоняет облако туда-сюда? Показывает трусливому кому-то: вот Юрюн, вот Айталын. Они хорошие, добрые. А что ссорятся, так это балхай виноват. Горячий балхай, вот и ссорятся. Они сейчас помирятся, мы и спустимся. Не бойся!

– Давай! – заорал я.

И тоже рукой замахал. Даже двумя руками.

Облако только меня и ждало. Легче пушинки оно скользнуло вниз, прокладывая к земле путь, похожий на витую березовую стружку, и с влажным чмоканьем опустилось перед крыльцом. Как землю поцеловало, да. Не двигаясь с места, боясь спугнуть трусливого кого-то, я смотрел, как пушистый

бок облака изменяется, словно балхай – дался мне этот балхай! – на холодке, превращаясь из густой похлебки, курящейся паром, в студень, из студня – в плотную, слипшуюся кашу. Ложка выскребла в каше ямку, наружу бочком выбрался Мюльдюн, нет, не Мюльдюн...

– Мама! – закричала Айталын.

И вдруг расплакалась:

– Мама! Он сказал, что я!.. что ты!.. балхай ему горячий!..

Похоже, не один я сегодня уперся лбом в похлебку из налима. Смущенный, с ушами-кострами, пылающими отсюда до небес, я топтался на месте. Айталын же со всех ног бросилась вперед и чуть не сшибла маму прямо на Мюльдюна. Наш старший брат раскрыл объятия, готовясь схватить в охапку обеих женщин, и схватил бы, удержал, но мама оказалась сильнее, чем думалось вначале. Мне сперва вообще помешалось, что мама еле стоит после долгой болезни. Бледная, губы дрожат. Глаза припухли, красные. Ну, вы меня поняли. У вас есть мамы? Они болеют иногда? Вот-вот, и я об этом.

– Мама!

– Доченька... взрослая совсем...

Стою я, значит, Юрюн Уолан. А возле облака – Мюльдюн-бёгё. Братья-боотуры, сила и силища. А между нами – человеки-женщины. Обнимаются, плачут. Носами шмыгают. Глупости всякие говорят. Щеки друг дружке обнюхивают, макушки. Волосы ерошат. Короче, жеребьячи нежности, стыд и позор. Нам бы с Мюльдюном хмыкнуть да отвернуть-

ся. А мы устали на них, будто у нас шеи в плечах застряли. Мюльдун набычился, как перед дракой. Желваки на скулах катают. А у меня по щеке что-то течет. Горячее, мокрое. И чувствую я, что сейчас сорвусь с крыльца, дурак дурацкий, рвану бегом, и пусть Айталын обзавидуется, потому что мама, и столько времени прошло, и не надеялся, и мама, и опять мама...

– Мама?

Нюргун встал рядом. Он сопел мне прямо в ухо. Я чуть не оглох, так он сопел. От Нюргуна пахло вареной рыбой. И кисленькой заправочкой. И крепким мужским потом. И чуть-чуть можжевельником. В начале зимы я совершил подвиг – уговорил его спать в «можжевельной» спальне. Ладно, зачем врать? Не я уговорил, а он согласился. Уж не знаю, на лежаке он там ночами валялся, или у стены стоял. Наверное, стоял. Спать, как все, Нюргун так и не научился.

– Можно? – спросил он.

– Можно, – кивнул я.

Клянусь, я понятия не имел, о чем он спрашивает, и что я разрешаю. Голый по пояс, густо заросший черным волосом, Нюргун побрел к маме. Айталын выскользнула из маминых объятий, отошла на шаг в сторону. Сестра следила за Нюргуном, как охотник – за чужим псом, чьи повадки ему неизвестны. Только посмей, предупреждала Айталын. Ты только посмей! Понял? Если честно, я ничегошеньки не понял. А Нюргун, должно быть, и не видел сестры. Он и мамы, по-мо-

ему, не видел. Брел, свесив голову на грудь: топ, топ, топ. Я лишь теперь заметил, что он вышел из дома босиком. Вот, добрел. Стоит, глядит себе под ноги.

Сейчас дырку в земле провертит, взглядом-то.

Я вспомнил день его освобождения. Я, считай, вернулся туда, на чрево железной горы. Вот, стучат зубчатые колеса. Вот Нюргун обнюхивает Умсур – бесстыже, по-звериному, там, где люди не нюхают при свидетелях. Вот он обнюхивает меня, булькая носом. Умсур вздрагивает, а я ухмыляюсь, до скрежета зубовного боюсь не вовремя обрести доспехом и взять в руки меч. Вот он прокусывает мне губу, и моя кровь попадает ему в рот. Я разгребаю Нюргуну волосы, и понимаю, что у него мои глаза. Нет, мамины. Нет, это у нас обоих мамины глаза.

– Можно? – еще раз спросил Нюргун.

– Да, – ответил я. – Можно.

– Маленькая, – объяснил Нюргун. – Боюсь поломать.

И обнял маму так, словно она могла рассыпаться в любой миг.

3. Солнышко в тени

– Ты изменился.

– Время, мама. Я вырос.

– Я тебя боюсь. Я думала, что боюсь его. Я ошиблась.

– Не бойся меня, мама.

– Перед ним мне стыдно. Очень стыдно. А тебя я боюсь.

– Почему?

– Я никогда не знаю, что ты сделаешь в следующий момент. И в детстве не знала, и сейчас. Все хорошо, но вдруг ты берешь и все ломаешь. Или все плохо, а ты раз, и все чинишь. И говоришь: «А что? Обычное дело...» А знаешь, что хуже всего?

– Что?

– Я не понимаю, как лучше: когда сломали или когда починили...

В углу заворочалась Айталын. Мы с мамой сидели на кухне, и сестра явилась сюда спать. Ну да, я помню: не спать, а сидеть с нами до утра. Чтобы сидеть было удобней, Айталын прихватила с собой грудку одеял высотой с гору Кюн-Туллур, залезла на самую верхотуру, укрылась дохой, как перевал облаками. Вон, сопит в две дырки. Небось, пятый сон видит: как сидит с нами до утра, беседы беседует.

Ночь клубком свернулась вокруг дома.

– Папа сказал: поезжай. Я и собралась...

– Папа?!

– А что? Обычное дело. Видишь, я тоже умею, как ты. Папа сказал: это правильно. Это соответствует закону. Мать хочет видеть сыновей, мать едет к ним. Обычное, обычное дело...

– Вряд ли в нашей семье оно такое уж обычное.

– Ты давно не был на небесах, Юрюн. У нас многое из-

менилось. Когда ты освободил Нюргуна... Ты вообще представляешь, что ты натворил?

– Освободил Нюргуна. Твои слова, мама. Вот что я натворил.

– Ты сломал жизнь своей семье. Я, папа, Мюльдюн, Умсур – мы все время думаем о вас. Едим, спим, прибираемся, встаем, садимся – вы, только вы, никто, кроме вас! Уехав, ты поселился у нас навсегда. Зачем ты это сделал с нами?

– О нас? Вы думаете о нас – или о Нюргуне?

– Не придирайся к словам. Да, о Нюргуне. Мюльдюн рассказывал тебе, что папа, считай, поселился на веранде? Раньше хоть спал под крышей, или ужинал... По вечерам я зову его в дом, а он молчит и смотрит на горы. Утром я приношу ему завтрак, а он молчит и смотрит.

– Раньше было точно так же, мама.

– Раньше мне было все равно. А теперь не все равно. Перед сном я молюсь Белому Владыке. Прошу, чтобы закон нарушали почаще. Тогда папа хоть как-то приходит в чувство. Но Белый Владыка не слышит мои молитвы. А может быть, закон нарушают часто, просто папе на это плевать. Умсур болеет: худая, бледная, еле ходит. Мюльдюн через день летает драться. Находит кого-нибудь и дерется. Он когда дерется, меньше думает. А когда не дерется, больше думает, и все о Нюргуне. Ты что-то поломал, Юрюн, или наоборот, срастил, и оно теперь болит, дергает...

Я налил себе брусничного отвара. Целый день мама была

прежней, знакомой. Как сто лет у нас прожила! Мела, мыла, драила; чинила одежду, готовила еду. Айталын хвостом таскалась за ней. Казалось, стоит моей сестре отвернуться, упустить маму из виду – и вот, нате вам, сгинула без следа! Следом таскался Нюргун. Обниматься он не лез, да и мама вела себя так, будто растила Нюргуна с колыбели. Командовала: подай-принеси, держи-тащи! Стой, не вертись! Нюргун держал, подавал, тащил. Терпел, пока его обмеряли – мама собралась шить новую рубаху. Ел, как не в себя – послушные мальчишки, объяснила мама, хорошо едят. И только ночью, когда Нюргун без возражений убрел в спальню, а Айталын прикорнула на ворохе одеял, я увидел ту маму, которая прилетела на самом деле.

А Мюльдюн убрался прочь. Еще утром. Представляете? Даже в дом не зашел. Сейчас, слушая маму, я с опозданием сообразил: вдруг ему драться приспичило? Вот я отвар пью, а он дерется, а? Нужно ему позарез, чтобы лишнего не думать...

– О чем там думать, мама? О ком? Ну, обо мне – еще ладно. Я у вас вырос. А с Нюргуном ты и папа, если по правде, незнакомые вовсе...

Я уже говорил вам, что очень честный? И очень глупый.

– Ты что-то сломал, Юрюн. Если бы ты это не сломал, я бы к вам не прилетела. В тени папы жить уютно: дом, кухня, дети. Помнишь, какая я была?

– Помню. Ты была солнышко.

– Ага, солнышко в тени. Ты вернул нам Нюргуна, мальчик мой. То, что ты увез его на землю...

– В Средний мир, мама.

– Не важно. Это ничего не значит. Ты его увез, и теперь Нюргун все время с нами. Днем я думаю о нем, ночью вижу сны о нем. Я спрашивала папу, Мюльдюна, Умсур – у них точно так же. Сны из жизни, о которой ты ничего не знаешь. Мюльдюн гуляет с Нюргуном во дворе. Играет в мяч за гаражами. Я кричу им, чтобы шли обедать...

– Во что играет? Где?!

– Не важно. Я готовлю Нюргуну полоскание: у него анги-на. Умсур учит его азбуке. Мы ходим с ума, мальчик мой! У нас теперь две жизни, и я не знаю, какая из них первая. Но чаще всего, ужасней всего...

– Не надо, мама. Хватит.

– Нет, ты послушай. Чаще всего нам снится больница. Нюргун лежит на койке, а мы сидим вокруг. Вся семья, кроме тебя. Или бродим по больничным коридорам, ищем выход, хотим сбежать. Выхода нет, мы снова возвращаемся в палату. На стенах – зеркала. Наши отражения идут, стоят, бегут, а рядом – Нюргун. Он не винит нас. Кивает, молчит. В этих снах время остановилось, будущее исчезло. Мы ненавидим больничные коридоры, но сидеть в палате еще хуже... Ты не понимаешь меня? Я вижу, что не понимаешь. Это, наверное, хорошо. Я люблю тебя. И Айталын люблю, и даже Нюргуна. Лети к ним, велел мне папа. У них попустит. У них

ты сумеешь выспаться по-человечески...

– Иди спать, мама. Тебе нужен сон.

– Я не хочу спать. Я подписала разрешение, Юрюн. Я его подписала...

– Разрешение?

– На использование Нюргуна в эксперименте. Не старайся меня понять, просто слушай. Я должна выговориться, иначе не засну. Конечно, легче всю вину свалить на папу. Он уговорил меня, объяснил, что все тип-топ, комар носу не подточит. Тип-топ, значит, по закону. Папа – юрист, я поверила ему. Не сразу, но он сказал, что так будет легче, и я сдалась. Думаешь, почему папа много пьет? Он хочет забыть, хочет и не может. Забыть, исправить – или хотя бы умереть... Каждый платит за совершённую подлость, и каждый платит по-своему. Когда Нюргуна увезли, я с головой ушла в работу. Моталась с участка на участок...

– В работу? Ты работала, мама?!

– А что? Обычное дело. Не скажу, что вытачивать зеркала в скалах – такая уж рутина для горных инженеров, но платили хорошо. Мы делали копию тибетских зеркал, в меньшем масштабе...

– Зеркала Козырева?

– Откуда ты знаешь?! Ты тоже видишь сны?!

– Нет, мама. Я сплю, как убитый. О зеркалах Козырева я слышал от Сарын-тойона. Он сказал: расстройства аутистического спектра, согласие родственников. Эксперимент за-

претили, как антигуманный и противозаконный. Папа, сказал он, голосовал за запрет. Не надо, мама, не плачь. Ну не плачь, а?

– Ложь! Сарын лжет!

– Не кричи, Айталын разбудишь...

– Папа голосовал за запрет?

– Не кричи, прошу тебя...

– Антигуманный? Противозаконный? Мне объяснил, что все тип-топ, а сам голосовал против? Зная, что голосование – фикция, отвод глаз? Что Нюргуна все равно введут в кому? Положат в железную колыбель?! Прикуют к оси миров?!

Мама задохнулась. Уронила голову на руки, еле слышно завывала волчицей. Две жизни, вспомнил я. Две жизни, и она теперь не знает, какая из них первая. Путается, несет око-лесицу, внятную только ей. Наверное, хорошо, что я ее не понимаю. Понимал бы, стали бы мы выть вдвоем. А так ничего. Так жить можно. Ну и что, что эта мама не похожа на прежнюю? Я тоже вырос.

– Дать тебе воды?

– Дай, пожалуйста.

– Вот, пей.

– Сарын, хитрая бестия! И ведь молчал! Тебе признался, а мне?!

– Я – балбес, мама. Признался? Сарын? Мне?! Чурбан, и тот умней Юрюна Уолана. Зеркала еще эти, гори они огнем! Дядя Сарын спрашивал про зеркало вокруг Нюргуна. А ты:

зеркала в скалах... Это же совсем другие зеркала, правда? Зачем ты их вытачивала?

– Говорю же, копировали тибетские. Зеркально-пирамидальный комплекс «Город богов»: «Дом счастливого камня», «Зеркало царя смерти»...

– Ну вот! Хорошая работа, честная...

– Не притворяйся, ты не умеешь врать. Вон, уши красные. Балбес ты мой дорогой, как же славно, что у тебя все в порядке! И спишь ты как убитый, и мамины глупости тебе что птичий язык... И сидим мы на кухне. Люблю кухню, век бы тут просидела. Честная работа? Что я строила? Для чего? Для кого?! Только Нюргун был в фокусе зеркал – или мы все?

– Кто мы? Ученый улус?

– Ученый улус! Королевство Дёмхень-хотун⁶, мы спим? Ждем поцелуя принца?

– Все тип-топ, мама. Я правильно говорю?

– Ты? Правильно.

– Все тип-топ, а завтра будет еще больше тип-топ. Давай спать, а?

4. Боотурская весна

– Спать? Да, спать пора, – мама легонько погладила меня

⁶ Дёмхень – шиповник. Мать Юрюна путается в воспоминаниях, имея в виду королевну Шиповничек из сказки братьев Гримм.

по руке. — Уснул бычок...

Я вспомнил, как ныл по вечерам: «Мам, сказку! Ну последнюю! Ну пожа-а-алуйста!» Я ныл, а она меня-вредного убаюкивала песенкой про бычка. Пела-напевала, а я бурчал: мол, рано еще... Глянул в окно — и впрямь рано. Или, наоборот, поздно. Светает уже. Всю ночь проболтали!

— Я у вас погощу, ладно?

Прежняя, увидел я. И мама, и улыбка.

— Ты не против, Юрюнчик?

— Шутишь? — у меня аж горло перехватило. — Живи, сколько хочешь. Хоть навсегда оставайся! Места полным-полно, мы рады... Айталын вообще от счастья рехнется! Она знаешь как за тобой скучала?

В детстве я на Юрюнчика ежом щетинился. Я ведь кто? Юрюн Уолан, человек-мужчина! Взрослый! Оказывается, надо было уйти из дома, помотаться лисьим хвостом от Бездны Смерти до Восьмых небес, послужить нянькой старшему брату, чтобы выяснить, как же мне этого Юрюнчика не хватало! Мамы не хватало. Ее улыбки. Слабой руки на моем запястье. Мягкого света...

Мама снова светилась. Пусть и не так, как в былые годы, когда тебя с головой накрывало теплой волной. Она мерцала, будто вспоминала, что это значит — светиться. Ничего, мама. Все в порядке. Ты будешь светиться как раньше. Даже лучше. Вспоминать — это ведь проще, чем учиться с самого начала?

Блеск за окном отвлек меня, приковал взгляд.

Белесое зарево вставало за горами. Верхушки сосен и лиственниц занялись первыми неяркими сполохами. Внизу, под деревьями, еще лежал снег, рыхлый и ноздреватый, но весна с уверенностью шагала по Среднему миру. От леса к дому тянулись борозды от исполинских когтей – длинные темные проталины. На границе снега и парящей земли блеснул металл. Ближе. Еще ближе...

Он двигался быстро. Быстро. Очень быстро.

Люди так не могут.

Я всегда знал, что Баранчай скор на ногу, но даже не представлял, насколько. Судя по тому, как торопился слуга дяди Сарына, как размазывалась в беге его гибкая фигура, Баранчай нес важные известия.

– Извини, мам! К нам гость.

Я выскочил наружу.

– Да расширится ваша голова, уважаемый Юрюн Уолан! Да будет стремительным ваш полет!

В двух шагах от меня Баранчай остановился. Из-под сапог взлетели жирные комья грязи вперемешку со снежным крошевом. Думаете, он запыхался? Да нисколько! Слова без малейших усилий выплескивались из уст слуги – так горный поток, вырвавшись из теснины на свободу, разливается спокойным течением реки.

– И тебе того же, Баранчай. Да будет стремительным...

Куда уж стремительней?!⁷

– Беда у нас, уважаемый Юрюн Уолан.

– Пошли в дом. Ты расскажешь, я услышу.

– Нет времени. Убедительно прошу меня простить!

Одет Баранчай был по-летнему. Вышитая безрукавка на голое тело, ровдужные штаны цвета прелой листвы. Сапоги из лосиной шкуры – легкие, мягкие, на крепкой двойной подошве. Железо рук и лица Баранчая тускнело, металл превращался в человеческую плоть. Алатан-улатан! А ведь это он так расширяется! Становится железным, потом усыхает, и бац! – снова человек. Вот, совсем усох. Лишь мелкие капли пота, похожего на топленое масло, напоминали о прежнем бегуне.

– Хорошо. Говори здесь.

– Мой хозяин, досточтимый Сарын-тойон...

– Ну?

– Он принял облик Первого Человека!

– Сдурел? Дядя Сарын и так Первый Человек! Всегда им был...

И тут до меня дошло:

– Принял облик? И не усох обратно?!

– Не усох, – горестно вздохнул Баранчай. – Благородная Сабия-хотун не может его уговорить. Никто не может. Все боятся.

– И ты?

⁷ Баранчай – Скороход (от слова «бар» – «иди»).

– Нет, я не боюсь. Да, уговорить не могу. Одна надежда на вас, уважаемый Юрюн Уолан! Вас он обязательно послушает. Торопитесь! Чем дольше мой хозяин сохраняет облик Первого Человека, тем труднее вернуть его обратно. Благородная Сабия-хотун умоляет вас приехать.

– Жди здесь. Я мигом!

Я рванул было в конюшню за Мотыльком – и замер с поднятой ногой.

– Эй, хитрец! А почему это дядя Сарын сделался Первым Человеком? Что у вас стряслось? Давай, признавайся!

Баранчай замялся. Пришлось показать ему, что иначе я с места не сдвинусь. Знаете, как я умею показывать? Вот и Баранчай сразу все понял.

– Уважаемый Уот Усутаакы...

– Уот? При чем тут Уот?!

– Уважаемый Уот Усутаакы похитил детей досточтимого Сарын-тойона. Уважаемый Уот Усутаакы забрал в Нижний мир уважаемых Кюна Дырибинэ и Туярыму Куо.

– Уот похитил Жаворонка?!

– Увы, это так.

– Жаворонка?!!

– И уважаемого Кюна Дырибинэ тоже.

Жаворонок. Поет, щебечет. Люблю! Весна. Солнце. Молодые кусты. Пробились из-под снега. Тянутся ввысь. Растут. Я тоже расту. Быстро. Очень быстро. Вот, вырос. Весна? Боотурская весна! Я большой, сильный. Очень большой.

Очень сильный! У меня меч. Доспех. Лук. Копье. Жаворонок! У меня? Нет, не у меня! Украли! Похитили! Уот похитил? Плохой Уот. Плохой. Очень плохой! Догоню, убью! Жаворонок! Спасу!

Звериный рев сотрясает округу. Сосны в испуге роняют ржавую хвою. Пляшут горы, рвутся корни в безднах. Кто ревет? Я реву. Кто топает ногой? Я топаю. Юрюн Уолан, человек-мужчина. Слабак? Боотур. Я очень громко реву. Очень грозно. Бойтесь меня!

Вы как любите? Я так.

– Усыхай, балбес! Быстро!

Голос. Знакомый. Дядя Сарын! Дядя Сарын кричит. На балбеса кричит. Надо слушаться. Надо усыхать. Нет! Догоню, убью! Спасу! Усыхать. Надо. Дядя Сарын. Не хочу! Догоню! Надо...

Трудно. Очень трудно. Темно в глазах.

Усыхаю. Усыхаю.

Всё, усох.

– Нижайше прошу простить меня, уважаемый Юрюн Уолан. Вы не оставили мне иного выхода. Еще раз прошу прощения...

Баранчай кланяется. Кланяется. Много раз кланяется.

– Сарын! – из моей глотки вырывается хрип. Рев изодрал горло в клочья, вот и хриплю. – Я слышал голос дяди Сарына. Твоя работа?

– Моя, – он кладет поклон за поклоном.

– Как?

– Я умею подражать. Вы бы иначе не усохли.

– Рассказывай всё! Расскажешь – прощу!

Баранчай медлит. Я оборачиваюсь. Они стоят позади меня: мама, Нюргун, Айталын. Молчат. Ждут. Они тоже хотят знать. Ну да, я ревел. Я топал. Мертвые, и те бы проснулись.

– Говори, – велю я Баранчаю. – Это моя семья. У меня от семьи секретов нет.

5. Услышу. Приду

– Вызов?

– Вызов, – повторил Баранчай.

Он стоял посреди гостевой комнаты – мы силой затащили его в дом.

– Уважаемый Кюн Дырибинэ бросил вызов. Вызов всем, кто откликнется. Уважаемый Уот Усутаакы откликнулся первым. Уважаемый Уот выбрался из-под земли, и они стали сражаться. Уважаемый Кюн Дырибинэ потерпел поражение...

Жаворонок! В погоню! Скакать, спасать! Боотур, слабак, балбес. В погоню! И плевать, что против Уота мне не выстоять. За Жаворонка я костыми лягу. Но лучше, чтобы враг лёг, верно? Или вообще никто не лёг. Подкрадусь, улучу момент, когда Уота рядом не будет... А что? Обычное дело! Если силой не вышел, надо головой действовать, да расширится она,

умница!

– Хорошо, что вмешалась уважаемая Туярыма Куо...

– Что тут хорошего? – возмутился я. – Что?! Если б Жаворонок не вмешалась, Уот бы ее и не похитил! Спряталась бы, пересидела...

Вызов, без слов повторил я. Кюн бросил вызов. «Будет беда, – говорил мне дядя Сарын. – Если отпущу, будет беда.» Если не отпустишь, сказал я, тоже будет беда. Как в воду глядел. Лучше бы мне тогда промолчать. С другой стороны, что бы это изменило? Молчи, кричи, а чему быть, того не миновать.

Меня колотила крупная дрожь. Так, помнится, дрожал Мюльдюн – на карнизе горы-темницы, когда над ним, курясь паром, навис голый Нюргун. Сила боотура против силы воли – кто хочешь задрожит. Мюльдюн, тебе было легче: твоей силе воли помогал страх. Вдвоем они одолели тебя, Мюльдюна-силача. Почему я не боюсь? Раз Уот, надо бояться. Бойся, балбес! Не получается...

– Уважаемая Туярыма Куо спасла уважаемого Кюна Дырибинэ. Иначе уважаемый Уот Усутаакы убил бы его. Уважаемая Туярыма Куо кричала, чтобы адьярай оставил в покое ее брата. Бросала камни в уважаемого Уота Усутаакы. Ни разу не промахнулась. Все три раза попала.

– Камнями? – ахнула Айталын. – В адьярая?!

Жаворонок. Камнями. В Уота. А я? Сижу дома, уши раз-

весил? Эй, вы! Маленькие! Слабые! Я большой. Сильный. Ого-го! Пол ушел вниз. Потолок упал на темя. Жаворонок! Спасу! Уот? Из лука! Стрелой! В глаз! Раз, два, три! Все три раза! Мечом! Копьем!..

...давит.

На плечи давит.

Мешает.

Сбросить! Не выходит. Давит. Гнет. Нюргун! Рукой давит. Плохой Нюргун! Хороший. Брат. Плохой! Мешает! Хороший. Помогает...

Усыхаю.

– Брат, – прогудел мне в ухо Нюргун. – Люблю.

Он поразмыслил и добавил:

– Я помог, да?

– Да, – согласился я. – Спасибо тебе.

Нюргун расцвел, заулыбался. Он все еще обнимал меня своей здоровенной ручищей, не торопясь ее убирать. И правильно! Вдруг боотур опять наружу полезет?

– Дальше! – потребовал я.

– Уважаемый Уот Усутааки обрадовался. Уважаемый Уот Усутааки раздумал убивать уважаемого Кюна Дырибинэ. Уважаемый Уот Усутааки вспомнил, что досточтимый Сарын-тойон обещал дочь ему в жены. «Невеста! – сказал уважаемый Уот Усутааки. – Выросла! Женюсь!» Потом уважаемый Уот Усутааки посмотрел на уважаемого Кюна Дырибинэ и сказал: «Невеста! Нет, не невеста! Шурин! Похож!

Очень похож!» В итоге уважаемый Уот Усутаакы забрал обоих – наверное, чтобы не перепутать.

– А ты где был?! – вызверился я.

Честное слово, я готов был убить его за этих бесконечных «уважаемых». Вот зануда! Баранчай и раньше-то всех вокруг именовал с зубодробительной вежливостью, а сегодня, считай, сам себя переплюнул. Гвоздь ему, что ли, в башку заколотили? Гвоздь безмерного уважения?! Или это он меня, сильного, так успокаивает? По-своему?

– Где был, а? Всё видел, всё слышал...

И я прикусил язык. А что Баранчай мог сделать? Камнями швыряться?! Я ведь помню: уважаемый, чтоб он сдох, Уот от полноты чувств хлопает Баранчая по плечу, слышится хруст, и рука слуги обвисает мокрой веревкой. Куда Баранчаю против Уота! Разозлил бы адьярая, погиб бы зазря...

– Я, Юрюн Уолан, – кажется, Баранчай почуял мою злость. Выдернул гвоздь, спрятал «уважаемых» подальше, – был вместе с Сарын-тойоном на другом краю аласа. Я умею быстро бегать, но я не успел. Впрочем, вы правы. Я всё видел и слышал.

– С другого конца аласа?!

– Меня таким выковали. Я вижу и слышу очень далеко. Мой хозяин тоже спешил на помощь детям. Думаете, почему он принял облик Первого Человека? Помогите ему усохнуть, Юрюн Уолан. Вас он послушает. Иначе у нас впереди много новых неприятностей.

– А Жаворонок? Зайчик? Они что, подождут?!

– Им в ближайшее время ничего не угрожает. Уот Усута-аки твердо намерен жениться. Адьярай он родственный, с большим семейным чувством. Он не причинит вреда невесте и будущему шурину. Свадьба требует подготовки, значит, у пленников еще есть время. А у моего хозяина времени нет. Если Сарын-тойон не усохнет в ближайшие дни – останется Первым Человеком навсегда. Сабие-хотун тяжело, она долго не выдержит...

Твое слово, Юрюн Уолан. Твое решение, уважаемый. Что скажешь? Кого выберешь? В голове вертелся обрывок детской песенки: «Адьярай, адьярай, кого хочешь, выбирай!» Ну почему – я? Почему опять я?! Мама! Что ты смотришь на меня? Что ты хочешь сказать? Все смотрят, но вижу я только тебя, мама. Солнечная Нуралдин-хотун для других, просто мама для Юрюнчика-упрямца. Тетя Сабия! Если Сарын-тойон не сбросит облик Первого Человека, он подомнет ее под себя. Накроет своей тенью, выпьет соки. И тетя Сабия станет такой же, как ты, мама – там, наверху, при папе. Как жена мастера Кытая при кузнеце.

Жаворонок!

Тетя Сабия. Дядя Сарын.

Они рвали меня надвое. Ах, если бы я мог и вправду раздвоиться! Один Юрюн Уолан поехал бы вызволять пленников, другой – вправлять мозги дяде Сарыну.

– Брат?

- Нюргун?
- Я могу.
- Что ты можешь?
- Поеду. Спасу.
- Нет!
- Почему?

При виде того, как искренне огорчился Нюргун, я чуть не сгорел от стыда. Будь на его месте Мюльдюн-бёгё, я бы согласился без колебаний. Но Нюргун! Я и так впервые оставлю его одного – мама с Айталын не в счет. Отправить огромного ребенка в Нижний мир? На битву с могучим адьяраем? Мама. Айталын.

– Ты останешься здесь. Слышал, что вокруг творится? Адьярай вконец распоясались! Людей среди бела дня похищают! Ты будешь защищать маму. Защищать Айталын. Понял?

- Да, – кивнул Нюргун. – Люблю. Буду защищать.
- Молодец! А я – к дяде Сарыну.

Само вырвалось: «к дяде Сарыну». Выходит, судьба.

Уши мои пылали. Я ведь не то чтобы соврал – просто не сказал всего. Вразумлю Сарын-тойона – и сразу в Нижний мир. Тут главное – не заботуриться раньше времени. Иначе все уловки прахом пойдут. По опыту знаю: у Юрюна-боотура уловка одна-единственная. Кырык! – и вперед, на врага. Проверим, чей лоб крепче! А чего там проверять? Сам знаю: у Уота крепче.

– Благодарю вас, Юрюн Уолан! – Баранчай поклонился мне в пояс. – От всего сердца благодарю!

– За Мотыльком угонишься?

– Прошу меня простить, Юрюн Уолан. Мне надо в другую сторону.

– Это в какую же?

– Дорогу разведать. Путь к жилищу уважаемого Уота Усу-таакы.

– Ну ты герой! – я повеселел. – Орел! Удачи тебе!

– И вам удачи...

Раз – и нет его. Умчался.

Тут, понятное дело, все начали со мной прощаться, добра желать. Захлопотали: «Доху надень, Юрюнчик! Шапку! Вот, я тебе еды собрала! Ты там поосторожней! На рожон не лезь...» Будто я не к дяде Сарыну, а в Нижний мир собрался! То есть, я, конечно, собрался, но маме-то откуда знать? «Возвращайся скорее...»

А когда я вывел из конюшни Мотылька, пришел Нюргун.

– Помню, – сказал он. – Ты приходил.

– Я? Это ты пришел. Вот, стоишь.

– Нет. Не я. Ты приходил.

Он замолчал. Я ждал, хотя в пятки словно иглы воткнули. Видно же, Нюргун хочет сказать что-то важное. Нельзя его торопить – иначе собьется и совсем запутается.

– Снился? – спросил он. – Ты мне снился? Нет?

И сам ответил:

– Не помню. Ты приходил.

Крыльцо под ним жалобно скрипнуло. В лесу эхом за-
скрипела сосна.

– Я в плену был. Гора. Столб. Пути.

– Да, Нюргун.

– Рвался. Не мог вырваться. Ты пришел. Спасать пришел.

– Да, Нюргун.

– Бежал. Ко мне бежал. Не добежал. Чуть-чуть.

Никогда еще он не говорил так много.

– Потом приходил. Тоже. Часто. Говорил со мной. Разное.
Ты был маленький. Очень маленький. Очень сильный! Силь-
ней меня. Я помню. Помню. Люблю.

Он отвернулся:

– Ты зови. Я услышу. Приду.

Песня вторая

*– Эй, проворные мои сыновья!
Поскорей откройте веки мои!
Посмотреть я хочу на него,
На зятя будущего своего! –
Зычно крикнул
Почтенный старик.
Двое юношей подошли,
Два длинных багра принесли;
Два крюка двух медных багров
Вонзили со звуком «топ»
В толстенные, отвисшие вниз
Веки исполина-отца...*

«Нюргун Боотур Стремительный»

1. Абытай-халахай!

– Юрюн-тойон! Юрюн-тойон!

Мальчишка лет десяти, в мохнатой рыжей дохе «на вырост», в шапке цвета бледного пламени – чистый тебе лисёнок. На отшибе стояла ветхая юрта, кажется, нежилая. За ней мальчишка и прятался.

– Юрюн-тойон!

Высунулся, бездельник. Рукой машет.

Хорошо, что я успел усохнуть. Иначе не заметил бы пар-

ня, проехал мимо. Всю дорогу до Сарынова улуса я промчался доспешным боотуром. Ну и Мотылек раздобрел – мне под стать. Так скакать быстрее, чем усохшим тащиться. Главное, не забыть, куда и зачем скачешь. У боотуров память дырявая: бац, и вывалилось. Поэтому я заранее крепко-накрепко вдолбил себе в голову: «Я спешу к дяде Сарыну!» Это чтоб ненароком в Нижний мир на войну не рвануть. И еще вдолбил: «Доеду – усохну!» Юрюн-слабак очень надеялся, что Юрюн-боотур этого не забудет.

Надо же, запомнил!

– Юрюн-тойон! Сюда!

Мальчишка кричал шепотом. Чтобы я, значит, услышал, а больше никто.

– От кого прячемся? – я подъехал ближе.

– От Сарын-тойона! – выпалил лисёнок. – Он как со вчера запервочеловечился – так и абытай-халахай! Все от него прячутся. Куда ни зыркнет – всё вверх дном наизнанку! Дыры в земле вертит, воду в речке кипятит – ужас!

– У Сарын-тойона открыты глаза?!

– Ага! Меня Сабия-хотун послала – вас караулить. Давайте за юртами, по краешку, чтоб Сарын-тойон не сглазил...

Я спешил, повел Мотылька в поводу за вертким лисёнком. Вот, иду. Крадусь. Прячусь. Словно я уже в Нижнем мире – приноравливаюсь, как ловчее освободить Жаворонка. Нет! Не думать об этом! Еще забоотурюсь невпопад...

Верховой ветер мёл по небу, гнал прочь облачную дружи-

ну. Надраенным зеркалом панциря блестело солнце, сползая к закату. Под копытами Мотылька чавкало. Па́рили, подсыхая, освобожденные от снежной тяготы юрты. Кособокие, облезлые, в клочьях прошлогоднего бурого мха – лесные деды выбрались из берлог! Ничего, подсохнут, и хозяева за пару дней приведут жилища в порядок. Вычистят, законопатят...

Тихо вокруг, сообразил я. Слишком тихо. Будь я Нюргунном, сказал бы: «Не люблю.» Улус словно вымер. Детский смех, вопли младенца, досужая болтовня – нет, ни звука. Даже живность затаилась. Лай, ржание, мычание – тихо-тихо-тишина. Наши шаги, наверное, были слышны за девять полетов стрелы.

Я невольно понизил голос:

– Где сейчас Сарын-тойон?

– На лугу, возле речки.

– Сабия-хотун в доме?

Конечно, в доме. Где ей еще быть? Это я так спросил, чтобы не молчать.

– Ага. Вас ждет.

К дому мы подобрались с задов. Слуга – не Баранчай, обычный – высунул нос из конюшни, узнал меня и кинулся открывать калитку в частокоче. Я оставил Мотылька на попечение конюха и конюшонка – лисёнок приходился конюху сыном – а сам прошмыгнул в дом. Ну да, прошмыгнул. Я, Юрюн Уолан, сын Закона-Владыки. Как мышь. Как вор.

Стыдобища! А что предагаете? Угодить под взгляд дяди Сарына? Нет уж, лучше я с дюжиной адьяраев схвачусь!

– Юрюн! Наконец-то!

– Я спешил, тетя Сабия...

– От окна! Быстро!

С неожиданной силой она ухватила меня за плечо, потащила внутрь дома. Я споткнулся и едва не упал.

– Зачем? Куда? Я хотел...

– Он сейчас посмотрит! Я чую...

Пол вздрогнул под ногами. Дом затрясся, как больной в лихорадке. Что-то с лязгом упало в кладовке. Миг, другой, и всё успокоилось.

– Пронесло, – выдохнула тетя Сабия.

Отпустив меня, она без сил упала на скамейку. Лицо белей снега, под глазами синяки. Пальцы дрожат дрожмя. У меня аж сердце зашлось! Заметив мое сочувствие, тетя Сабия закусила нижнюю губу, сделала глубокий вдох – и дрожь пальцев унялась.

– До вечера мой муж продержится. Не больше.

Голос ее звучал глухо и в то же время очень громко. Впору поверить, что Сабия-хотун спряталась в огромный горшок и говорит оттуда, сидя на дне. Мой муж? Ну да, они с дядей Сарыном – муж и жена. Но тетя Сабия никогда раньше не называла дядю Сарына «мой муж»! При мне, во всяком случае.

– Продержится? Это называется – продержится?!

Что ж будет, когда дядя Сарын пойдет вразнос?! Вспомнился Зайчик – он, когда Нюргуну в мас-кырсы проиграл, от злости и палку сломал, и доску, и коновязь сломать хотел. Я его еле уговорил. А если б не уговорил? Ну, сломал бы коновязь, еще что-нибудь, и в конце концов всё равно бы успокоился. Не вечно ж бушевать?

А Сарын-тойон?

– Тетя Сабия! Может, лучше обождать?

– Обождать?

– Ну, может, он зырк, зырк – и успокоится, а?

Уши загорелись. Стыдно. Стыдно. Очень стыдно. Что, Юрюн Уолан, увильнуть решил? Авось, само образуется? Ты зачем приехал? Зачем тебя звали? Зачем Баранчай к тебе бегом бежал?

– Его ярость питает, – тетя Сабия глядела в пол. – Он – костер, ярость – дрова. Ярость, злость, страх за детей. Он себя винит, Юрюн. Места себе не находит. Хорошо хоть в погоню не кинулся...

– А если бы кинулся? Да дядя Сарын только взглянет на Уота – в бараний рог скрутит! Детей вызволит – и назад...

– Нельзя ему!

– Почему?

– Уот внизу не один. И потом...

Тетя Сабия разрыдалась. Я растерялся: опять глупость брякнул! Хотел обнять ее, успокоить, но тут Сабия-хотун утерла слезы, встала и быстро-быстро зашагала в сторону

кухни.

Я поплелся следом.

– Нельзя ему, – бормотала она на ходу. – Нельзя!

– Ну почему?

– Не вернется. Никогда не вернется. Даже если вернется – не вернется...

На ходу тетя Сабия менялась. Сделалась выше ростом, крепче, мощнее. Ссутулилась, втянула затылок в плечи. Обернулась ко мне, и я едва не закричал. На меня глядела древняя старуха – седая, суровая, костистая. Лицо – скала, изрезанная ущельями морщин. На лугу бушевал Первый Человек-мужчина, и в доме хозяйничала Первая Человек-женщина.

Скользнув по мне равнодушным взглядом, Сабия-хотун зашла на кухню. Подобрала упавший с полки котелок, водрузила на место – и занялась камельком. На меня она не обращала никакого внимания. Что есть я, что нет...

– Тетя Сабия! Это я, Юрюн Уолан!

– Ужин.

– Вы за мной Баранчая посылали! Вот, я приехал.

– Ужин, – повторила она. – Мой муж – Первый Человек. Нельзя оставить моего мужа без ужина. Я приготовлю ему... ему и детям...

– Тетя Сабия!!! – я схватил ее за руку: жилистую, сухую, как крепкая деревяшка. – Ваших детей похитили! Я их верну! Но сначала я верну вашего мужа, дядю Сарына! Вы меня

слышите?

– Ужин. Пора варить...

– Помогите мне! Подскажите – как?

– Мой муж скоро придет ужинать.

– Как вернуть дядю Сарына? Прежнего дядю Сарына?!

– Вернуть? – ущелья-морщины задвигались, грозя камнепадом. На лице старухи отразилось сомнение: – Мой муж куда-то ушел? Он не придет ужинать?

И вдруг:

– Жаворонок! Зайчик! Ты спасешь их?

– Спасу, тетя Сабия.

– Обещаешь?!

Она вцепилась в меня: не отдерешь.

– Обещаю. А вы пообещайте мне, что вернетесь, – твердо сказал я. – Мне нужна ваша помощь. Помогите мне, и я помогу вам. Возвращайтесь, тетя Сабия. Я один не справлюсь. Возвращайтесь, ладно?

Я гладил ее по руке, как мама утром гладила меня. Кожа Сабии-хотун под моими пальцами становилась мягкой, разглаживалась, теплела. Рука из деревянной сделалась живой, упругой. Тетя Сабия всхлипнула и едва не упала, но я успел ее подхватить.

– Извини, Юрюн. Накрыло меня. Давай уйдем с кухни.

– Почему? Он сюда смотрит?

– Тут сильнее давит. В гостиной полегче, и окна на другую сторону...

Я помог ей дойти до гостевой комнаты – ноги плохо слушались тетю Сабюю. Усадил на лавку, сам уселся напротив.

– Нельзя моему мужу в Нижний мир, – она повторяла это, как заклинание. – Нельзя. Нельзя!

– Понял, тетя Сабия! Нельзя, так нельзя. Вы, главное, подскажите, как его надо распервочеловечивать? Ну, велю я ему: «Эй, дядя Сарын! А ну, усохни немедленно!» Он ведь не послушает?

Она вздохнула:

– Нет, не послушает. Даже не услышит. Его вина гложет. Он глухой, когда виноватый. Сумеешь убедить его, что он не виноват – вернешь.

– Это нам раз плюнуть! Знаете, какой я убедительный?

– Да уж знаю...

– Будет вам дядя Сарын лучше прежнего!

– Не надо – лучше.

Она нашла в себе силы улыбнуться.

– Не надо, – поспешил согласиться я. – Будет как раньше! Точь-в-точь! Ну, я пошел. Вы тут держитесь, хорошо?

– Под взгляд не угоди!

– Не волнуйтесь, тетя Сабия. Я увертливый...

– Стой!

Я замер.

– Подожди, – она уставилась в стену. У меня волосы встали дыбом, а зубы заныли, будто от ледяной воды. Вот как она смотрела! – Пусть он отвернется... Давай! Бегом!

Ну, я и дал.

2. Я не шаман, и бубна у меня нет

Дверь еще не успела захлопнуться за мной, а я уже кубарем катился с пригорка – прямиком в кусты ольховника, голые и жалкие. И хотелось бы лучшего укрытия, да не нашлось поблизости. Хруст, треск, мокрые прутья хлещут по морде, и я, считай, проломил ольховник насквозь, но в конце застрял. Хорошо, что я слабак. Нюргун бы вихрем пролетел, и даже не заметил. Пока я катился-ломился, в грязи измарался – ой-боой! Оно и к лучшему: грязные незаметней. Луг, где куролесил дядя Сарын, из кустов просматривался едва-едва. Я очень надеялся, что Сарын-тойону меня тоже не видать.

Ладно, была – не была!

Я выбрался из кустов. Пригибаясь и оскальзываясь, рванул по склону в ложбинку, ведущую к самой луговине. Да уж, красться у меня получается лихо, совсем как у Вилюя. В детстве мы дразнились: «Слышишь топот-грохот? Это Вилюй к нам подкрадывается»...

Луг я старательно не замечал. Звери чужой взгляд чувствуют, а дядя Сарын сейчас – хуже зверя. Впрочем, нырнув в ложбину, не выдержал, глянул: что ж там творится-то? Луг дергался в судорогах – серая, бурая, зеленая каша на огне. Исходил паром, дымом, всхлипывал, чмокал, шел пузырями,

а посреди этого безумия топтался косматый старец, величественный даже со спины. Когда старец вздумал обернуться, я без стеснения упал на пузо. Не боотуром же вставать? Помню, вставали, больше не хочется. Над головой пронеслась волна жара, за ней – лютый, грызущий кости мороз. Шапка моя задымилась, а брови в один миг заиндевели.

Эй, Юренище! Вовремя ты спрятался!

Шапку я потушил, иней обтер – и двинул на карачках по ложбине. А куда деваться? Высунешься – не сгоришь, так окоченеешь! Нырнул в безлистые после зимы, тесно сплетенные заросли болбукты⁸, рискнул бросить косой взгляд: луг, искореженный дядей Сарыном, был рядом – камнем докинуть. Между нами, в смысле, между спасительной болбуктой и убийственным Первым Человеком, торчал здоровяга-валун, от пят до макушки в охристых пятнах лишайника. Выносите, ноги! Добежал, присел за валуном на корточки, перевел дух. Ф-фух! Изрядная каменюка, однако – с трех Ньюгунов величиной, а таких слабаков, как я, пятерых брать надо. Надеюсь, выдержит.

Ну что, пора? Ближе не подобраться.

Земля задрожала. Хруст, скрежет – в недрах Осьмикрайней рвались корни мира. «Дядя Сарын! – хотел крикнуть я. – Не казни себя! Хватит!» Выглянул – и обомлел. Все слова комом в горле встали. На истерзанном лугу дымилось

⁸ Болбукта – орешник, также кедровник, кедровый стланик. Шире – кустарник вообще.

с полдюжины закопченных провалов, превращая луговину в окрестности Кузни мастера Кытая. А там, куда смотрел Первый Человек, вспучивался земляной горб. Вздыхливался жирными пластами, раздавался в стороны – из Нижнего мира в Средний тянулся росток дерева-исполина.

– Бай-даа⁹!

Когда горб лопнул, вместо зеленого клейкого ростка к небу взметнулись мерзкого вида жвала – глянцевого, темно-лилового, с острыми концами цвета свежей крови. Жвала клацнули, издав сухой неприятный треск, воздух наполнился едким запахом стекающего с них яда. Я закашлялся, прикрыв рот ладонью. Горб расплескался жидкой грязью, наружу с завидной прытью поперла длиннющая членистая зараза толщиной со взрослого мужчину. Спина иссиня-черная, словно воронье перо, брюхо желтое, цвета волчьей сараны: три сажени, пять, семь, девять... Тонкие лапки – не счесть! – издавали скребущий звук, от которого хотелось заткнуть уши. Как я не стал доспешным боотуром, почему не бросился рубить гадину в лоскуты – до сих пор не понимаю.

И вряд ли пойму.

Тварь вознеслась над дядей Сарыном, нависла, обещая мучительную смерть. Над дядей Сарыном? Над Первым Человеком, могучим праотцом всех людей! Он стоял, запрокинув голову, и ветер трепал тусклое серебро его гривы.

⁹ Возглас удивления. Чаше употребляется адьяраями; в устах Юрюна говорит о крайнем изумлении.

– Ты!

Гром грянул над аласом.

– Ты голодна? Ешь!

Изогнувшись, чудовище вонзило ядовитые жвала в собственное брюхо. Мотнуло башкой, принялось с неистовством рвать свою плоть, утоляя голод. Когда наземь вывалилась склизкая требуха, меня чуть не стошнило. К счастью, тварь, содрогаясь в агонии, провалилась обратно во чрево бывшего горба. Над дырой, поглотившей самоедку, взвилось облако вонючего, хуже выгребных ям Кынкыйатты¹⁰, дыма.

Сарын-тойон отвернулся. Забормотал:

– Не то!.. опять не то... Где ты?

Ударил кулаком в ладонь:

– Где?! Найду! Из-под земли достану...

Огорчается, понял я. Тянул Уота, вытянул кусачую заразу. Любой бы огорчился!

– Дядя Сарын! Уймись!

– Найду!

– Так тебе Уота не достать!

– Достану! Кто здесь?!

– Это я, Юрюн Уолан. Помнишь меня!

– Юрюн?

Ох, и не понравился мне этот вопрос!

– Ну да! Дядя Сарын, ты себя не казни! Ты не виноват!

¹⁰ Кынкыйатта – страна в Нижнем мире, обладающая исключительно смрадным запахом.

– Виноват!

– Я Жаворонка вытащу! И Зайчика! Ты только...

– Виноват! – меня обдало смрадным ветром, несущим вонь падали. – Я виноват! Все виноваты! И я, и ты...

Ага, теперь я виноватый. Хорошенькое начало!

– Ты бы усох, а? Усыхай и потолкуем! На дудке мне сыграешь...

– На дудке? Можно и на дудке. Юрюн, значит?

– Да!

– Покажись, дружок! Чего прячешься?

Ну, я и показался. Зря, конечно.

– Татат-халахай¹¹!

Дядя Сарын крутанулся волчком. Седые космы мотнулись, упали ему на глаза. Это меня и спасло. Ну, еще то, что я был усохший. Спасло, да не помиловало. Там, за космами, горела пара вогнутых площадок с чернющей смолой на дне. Меня едва не всосало в их губительный омут. Тело утратило волю, размякло – студень, реденький балхай, подзастывший на холодке. Между ушами закопошились скользкие черви. Взгляд Сарын-тойона тянул мои души, ремнями мотал на локоть – все три, сколько есть. Лишь завеса спутанных волос мешала втянуть Юрюна Уолана целиком, без остатка.

Первый Человек в раздражении махнул рукой, убирая волосы с лица – и я, собрав остатки сил, упал на спину, откатился за чудесный, лучший в мире валун. Вот, лежу, трясусь,

¹¹ Междометие, выражающее неожиданный испуг.

стучу коленками. Был Юрюн, стали пальцы тети Сабии. За шиворот текут ручьи пота, а валун, бедняга, плавится вершиной, исходит зыбким маревом.

– Ну что же ты, дружок? Иди дудку слушать...

Ага, разогнался! Засунь свою дудку знаешь куда?! И, главное, голос такой доверительный, ласковый. Жуть! Лучше б рычал или ругался! Очень хотелось обложить дядю Сарына грязной бранью, но я смолчал. Надо держать язык за зубами, а ушки на макушке. Вон, шаги. Тяжкие, гулкие. Я отполз вбок, обогнул валун. Тишина. Остановился? Куда он сейчас смотрит?

– Эй, дружок! Э-ге-гей!

То место, где я лежал раньше, оживает. На полтора локтя вверх выстреливают острые жесткие стебли. Костенеют, сохнут, желтеют. Рассыпаются мелкой трухой. Ее подхватывает ветер, уносит прочь. Это было, было! В детстве, на небесах! Я помню: лес встает на дыбы. Руки-стволы, пальцы-ветки, пасть-бурелом. Почки набухают на сухих ветках. Зелень листьев жухнет, скукоживается. Земля идет трещинами. Ручей – кипятилок...

Река!

Я обернулся к реке. Так и есть! Серый, подтаявший лед – в изломах трещин. На стремнине реки он громоздится торосами в два человеческих роста высотой. Вокруг торосов зияют полыньи. Жарко бурлит вода, к небу возносятся столбы пара – прямой стволов лиственниц.

Дома, в нашем небесном улусе, беду остановила Умсур – удаганским волшебным кырааром. А мне что делать? Я не шаман, и бубна у меня нет. Вытянуть руку, как Умсур? Приказать: «Стой! Назад!» Приказать-то я могу. Отчего ж не приказать?

Только кто послушается?

– Где ты? В прятки решил поиграть, ворюга?

Ну вот, теперь я ворюга. Дядя Сарын забыл, за кем охотится. Я, значит, и Зайчика украл, и Жаворонка, и вообще я Уот Усутаакы, Огненный Изверг. Убьет он меня, клянусь. Узлом завяжет, наизнанку вывернет. Ладно, помирать, так с музыкой. Эй, дудка! Шибче дуди! Прыгнул я через валун – загляденье! Кэр-буу! И на спину Сарын-тойону – плюх! Правой рукой горло обхватил, левой затылок примял. Он с ног – брык, я сверху. Лежу, давлю. Тычу Первого Человека, праотца племен, мордой в землю. Удовольствие – каюсь! – получаю. Держу, не отпускаю. И дядю Сарына не отпускаю, и Юрюна-боотура. Этого балбеса только отпусти! Свернет он дыде Сарыну шею и не заметит.

– Тихо! Не рыпайся!

А они рыпаются. Ох, и рыпаются!

Лопатки – дыбом. Чьи лопатки? Уперлись мне в ребра. Комки тугих мышц – ходуном. Чьи мышцы? Рев утробный, аж в животе гудит. В чем животе? В его животе ревет. В моем гудит. Нет, держу. Поди, отдери! Ворочаешься? Встать хочешь? Голову вызволить? Глянуть на своего милого друж-

ка?! На ворюгу?! Держу, давлю. Давлю, держу. Кажется, боотур. Точно, боотур. Назад! Усохни! Пячусь, отступаю. Держу, не отпускаю. Молодец я! Слабак! Жаль, никто не видит. Хорошо, что дядя Сарын не видит.

– Очнись! Усохни!

Кому я кричу? Ему? Себе?!

– Ты не виноват! Не виноват!

Скачу на диком жеребце. Несет. Вот-вот сбросит.

– Я их верну! Усохни, а? Усыхай, балбес!

Дергает. Подкидывает. Нет, дудки. У нас тоже дудки есть.

– Ты ни при чем! Тетя Сабия тебя любит! Я тебя люблю!

Гоп-гоп! Язык прикусил. Получилось: «убью». Ничего, сойдет.

– Мы тебя все любим! Усыхай, старый пень!

Обмяк. Ткнулся носом в грязь.

– Ни-при-чем! Ни-при-чем!

Хрипит загнанной лошастью.

– Я верну их! Ты верни себя, а я – их!

И-и-их! Что это с землей? Вокруг Сарынова лица – дым-дымина. Земля оседает, горит, спекается. Чаша! Он лежит лицом в чаше. Дно черное, стенки черные. Блестят. Мое отражение кривляется. Корчит рожи. Зеркало? Зеркало Козырева?! Надо ослабить хватку.

– Дядя Сарын?

Ты хоть голову приподними, бедолага. Отдышись. Так, хорошо. В глянце – твои черты. Нос, рот, лоб. Твои глаза, Са-

рын-тойон. Открытые глаза. Две бездны Елю-Чёркёчёх. Вижу. Вижу. Я – тебя. Ты – меня. Пью из чаши полной мерой.
– Возвращайся, ладно?
И упала темнота.

3. Успеешь еще запачкаться

- Ну, ты и дружок! Ох, и дружок...
- Усыхай, дядя Сарын...
- Еще усыхать? Обойдешься!

Тьма блекла, серела. Подергивалась рябью, как гладь озера под дождем. Разошлась клочьями, истаяла. Я заморгал, щурясь от яркого света. На самом деле свет был неярким, просто я смотрел на солнце. Багровое, сердитое, оно клонилось к закату, ободрав бок о лиловые вершины гор. Рядом с солнцем торчал мрачный утес, похожий на человека. Утес шевельнулся, я откатился в сторону, вскочил на ноги – откуда и силы взялись!

- Угомонись! – велел утес. – Опять в драку собрался?
- Это я? Это я – угомонись?!
- Ты, дружок. Кто, если не ты?
- Сам угомонись!
- Я уже...

Глаза? Закрыты! Хвала всем богам, какие у нас есть!

- Зеркало, – буркнул я. – Ты меня зеркалом шарахнул.
- И добавил, вспомнив маму:

– Зеркалом Козырева.

– Умник, – дядя Сарын скривился. Казалось, я сунул ему в рот кислую ягоду и заставил разжевать. – Шарахнуло его! Тебя краем зацепило. Краешком, на излете. Вот меня таки да, шарахнуло! Сам себя приложил. Ну и ты, дружок, помог. Куда ж без тебя?

Кряхтя, он опустился на землю – там, где стоял. Ноги плохо держали Сарын-тойона. Я почесал в затылке и уселся напротив. Вот, сидим. Молчим. Дуемся друг на дружку.

– Ты бы встал с земли, а? – я не выдержал первым. – Простудишься!

– Зато остыну.

– Пошли в дом. Тебя тетя Сабия ждет.

– Дождалась.

Нет, это не дядя Сарын. Это тетя Сабия. Я и не заметил, как она подошла. Вместе с ней пришел Мотылек. Встал надо мной, лизнул в ухо – щекотно! Я заулыбался, похлопал Мотылька по морде. Чудесный у меня конь! Почуял, что хозяйину досталось, явился на подмогу. Настоящий друг!

– Спасибо, Юрюн.

Тетя Сабия наклонилась ко мне. Я ждал, что она вслед за Мотыльком лизнет меня в ухо. Нет, вытянула губы трубочкой, чмокнула в висок. Что это с ней?

– Ты ему должен, – она погрозила мужу кулаком. – Ты ему до конца жизни должен. Сам бы ты ни за что не вернулся.

– Ты права, – вздохнул дядя Сарын. – Спасибо, дружок.

Они сели рядышком. Тетя Сабия обняла дядю Сарына за плечи, прижалась щекой. Тихие, печальные – у меня аж в глазах защипало.

– Поеду я, а? Жаворонка вам привезу. И Зайчика.

– Уот, – напомнил дядя Сарын.

– А что Уот? Обычное дело.

– Уот – не дело. И уж точно не обычное. Ты с ним не справишься.

– Это если драться. А я с ним драться не собираюсь. Я его грабить собираюсь, самым подлым образом. Выкраду пленников – и назад во весь дух. Ну как, дело? Обычное?

Да, так и сказал: «выкраду». И не стыдно мне было ни капельки.

– Пробуй, – дядя Сарын вздохнул во второй раз. – Мало ли? Тут хоть совой по пню, хоть пнём по сове... Не Нюргуна же посылать?

Он слышал мои мысли, как в детстве.

– Я готов! Вот дождусь Баранчая и сразу...

– Зачем?

– Он дорогу разведывает! Вперед рванул...

– Рванул? Вперед?!

Дядя Сарын нахмурился, закусил губу. По-моему, он не доверял Баранчаю. Да ну, чепуха! Надо окончательно выжить из ума, чтобы заподозрить блестящего слугу в обмане хозяина или хитром выверте.

– Дорога? – наконец ожил он. – Дорогу я и сам разгляжу.

– Разглядит он! Не нагяделся? Сиди, не рыпайся!

– Наглый ты стал, дружок. Нойон-богдо¹²!

– На себя посмотри! Замаялся я тебя в чувство приводить...

– За мной не ходи, жди здесь. Скоро вернусь.

– Вернешься?

– Да, – дядя Сарын прекрасно понял, о чем я. – Обещаю.

Он высвободился из объятий жены; крикнув, поднялся на ноги. Веки Сарын-тойона побелели, раскались, сделались костяными. Отойдя от нас шагов на тридцать, он заметался по лугу кругами: склонялся к земле, вертел головой. Точь-в-точь пес в поисках утерянного следа! Только пес нюхает носом, а дядя Сарын – глазами. Вот, замер. Встряхнулся, будто спросонок, и двинулся напрямик к реке. Как бы в полынью не провалился!

Я шагнул следом: если что, вытащу.

– Не лезь, – удержала меня тетя Сабия. – Лучше не лезь.

Вода в полыньях перестала кипеть. Пар рассеялся. Торосы, правда, остались. Дядя Сарын погулял туда-сюда по берегу и вернулся: прежний, усохший. А все почему? Потому что обещал. Слово Первого Человека – это вам не ёж начи-хал!

– Слушай и запоминай. Едешь на закат, через перевал. За первым же аласом увидишь перекресток. Восемь дорог...

¹² Нойон – господин, князь. Богдо (богдо-хан, богдыхан) – священный государь. Нойон-богдо – насмешка, презрительное обращение: «Эй, парень! Малый!»

Или девять? А-а, какая разница! Тебе все едино – на закат, никуда не сворачивая.

– Понял.

Тут и дурак бы понял. Не заблужусь! Мотылек встал позади меня, выглянул из-за плеча. Дядя Сарын уставился на коня:

– Дальше – бездорожье. Лес, бурелом, болота, зыбуны...

Мотылек кивнул. Честное слово, кивнул!

– Доедете до шестого края Осьмикрайней. Там ступенчатая воронка... Горловина? Короче, спуск в Нижний мир.

– Прямо к Уоту?

– Криво. Кривая, она вывезет. Не перебивай!

Мотылек фыркнул с укоризной, и я заткнулся.

– Спúститесь на северный берег Муус-Кудулу. Там... – дядя Сарын звонко хлопнул себя ладонью по лбу. – Да что ж это я? Разболтался, старый пень!

Он вытащил из-за пазухи гладкую медную пластину. Он что теперь, все время их с собой таскает? На всякий случай? Веки Сарын-тойона задергались, на пластине выжглись значки: первый ряд, второй, третий. Я ждал. Это, должно быть, пропуск. В Нижнем мире, небось, свои стражи имеются! Приеду на заставу, покажу пропуск... Я ждал, ждал и дождался. Закончив, дядя Сарын протянул пластинку Мотыльку – и что вы думаете? Мой конь обнюхал медяшку, мягко подхватил ее губами с ладони и съел! Клянусь – съел!

В животе Мотылька щелкнуло. Загудело. Смолкло.

Наверное, глядя на меня, можно было со смеху помереть. Но Сарын-тойон даже не улыбнулся. И тетя Сабия тоже.

– Готово, дружок. Удачи тебе!

– Так я поехал?

– Утром поедешь, – вмешалась тетя Сабия. – Утро вечера мудренее. Отдохнешь, выпишься. Я тебе одежду вычищу. Вон, грязный весь...

– Грязным я не такой заметный!

– Успеешь еще запачкаться, дружок, – дядя Сарын издал вздох: третий и последний на сегодня. – Или думаешь, грязнулю адьяраи за своего примут? Ты, главное, на рожон не лезь. Не лезь, да? Боюсь, тут у нас не сказание о подвигах. Тут у нас семейная сага. Три семьи: твоя, моя, Уотова. Любовь, дружба, телячьи нежности. Сага, значит, о Форсайтах...

– О Фаарсытах? – удивился я. – Кто такие? Твои приятели?

– Друзья. Можно сказать, родственники. Впрочем, не важно. Важно другое: семейные саги опаснее, а главное, куда подлее, чем сказания о подвигах.

* * *

Все, что я расскажу вам дальше, это не я вам расскажу. Меня там не было, мне лучше помолчать. Знаете, как это стыдно, что меня там не было? Уши до корней сгорают, вот

как. Я ведь не случайно Нюргуна одного бросил. Я его с умыслом бросил. Да, выбор. Выбора мне не оставили. Но ведь умысел! Его-то я сам затаил, сам взлелеял?

«Он всю жизнь был прикован к оси миров, – эти слова дяди Сарына я запомнил на всю жизнь. – Он и сейчас к ней прикован. Ты – его ось, он – твой пленник. Ты не освободил его, ты его переприковал. Перевел коня от одной коновязи к другой...»

Я тогда разозлился. Послал дядю Сарына в задницу. Спросил: «Мне что, гнать Нюргуна прочь? Самому уехать? Подарить тебе Нюргуна взамен сына?!» Спросить-то я спросил, а с ответом – беда. Сарын отмолчался, я притворился, что забыл, и ничего не забыл. Мучился, поедом себя ел. Нюргун – мой пленник? Оружие, которое я выковал в особой кузне?! Никто, кроме Юрюна Уолана, не в силах ударить врага этим оружием. Я, только я! И если однажды я совершу ошибку, глупость, подлость, если я стану боотуром, чей разум – дитя, и сгоряча выхвачу Нюргуна из ножен... Что он натворит? Что натворю я? На что толкну его, в какую пропасть?!

Теперь я готов признаться, что втайне желал разлуки с Нюргуном. Хотел освободить его от себя. Когда час пробил, я даже обрадовался. Зайчик взбунтовался против отца? Я подарю Нюргуну свободу, прежде чем он созреет для бунта! Ну, подарил. А что? Обычное дело.

Вы еще помните, что мой дальнейший рассказ – не мой

рассказ? Вот и славно. Есть у меня младшая сестра – знатный олонхосут¹³. Начнет – не остановишь.

4. Рассказ Айталын Куо, Красоты Неописуемой¹⁴, младшей дочери Сиэр-тойона и Нуралдин-хотун, о ее похищении одним дураком

И сразу стало темно.

Нет, не сразу. Это я поторопилась. Я всегда так: тороплюсь, а потом алатан-улатан, и приходится обратно возвращаться. Какой дурак так устроил? Лучше бы иначе: я тороплюсь, а все за мной бегут, догоняют. Ну ладно, ладно, начну с начала. Вы же все равно не побежите, правда?

Сначала мы кушали. Юрюн давным-давно ускакал, Баранчай – а я знаю, что его зовут Баранчай! – давным-давно убежал. Мама поплакала и успокоилась, и сказала:

– Давайте кушать!

Еды она наготовила – ужас! То есть, радость. Когда еды много, это ведь радость? А когда кусок в горло не лезет, это как? Я его пихаю-толкаю, глотаю-стараюсь, а кусок спрашивает: «Где сейчас Юрюн? Где Зайчик? Такой красивый Зай-

¹³ Олонхосут – сказитель. Олонхо – сказание, эпос.

¹⁴ Айталын Куо – букв. «невыразимо прекрасная», божественная красавица. Вариант: Лунная красавица.

чик? Такой хороший, такой глупый Зайчик? И даже такая вредина Жаворонок – где она, а?» Поди теперь, проглоти его! Ничего, справилась. Беру второй кусок, а он: «Где Юрюн? Где Зайчик? Что с ними?!»

Сию голодная, носом хлюпаю.

И сразу стало темно. Нет, еще не темно. Еще светло. И мама тоже носом хлюпает. Мы хлюпаем, Нюргун чавкает. Перестал чавкать, задумался.

– Защищать, – говорит. – Буду защищать.

И еще:

– Не бойтесь.

– Я не за себя боюсь, – объясняет мама. – Я за Юрюнчика.

– И я за Юрюнчика! – обижаюсь я. – И за Зайчика! А за себя я нисколько не боюсь! Чего мне за себя бояться? Дураку ты, Нюргун, ничего ты не понимаешь!

Он кивает. Он всегда кивает, когда я его дураком обзываю. Другие злятся или смеются, а он кивает, серьезно так. Совсем неинтересно его дураком обзывать. И даже совестно, если по правде.

– Юрюнчик, – мама гнет свое. – Ты как думаешь, Нюргун, он справится?

Нюргун кивает.

– С Уотом? Он ведь здоровила, этот Уот... Мне Мюльдюн рассказывал.

Не удержалась я, прыснула в ладошку. Притворилась, будто мне соль в нос попала. Мюльдюн ей рассказывал! Мюль-

дюн у нас рассказчик, это да! Мама ему: «А каков-таков Уот Усутаакы?» А Мюльдюн ей: «Ого-го!» Мама ему: «Что, прямо-таки ого-го?» А Мюльдюн ей: «Угу!» А мама ему: «Большой? Сильный? Могучий?» А Мюльдюн ей: «Ага!» Чистое тебе сказание дедушки Сэркена, хоть бери и народу пой!

– Справится? – голос у мамы дрожит, трескается. Вот-вот черепки посыплутся. – Справится, да? Юрюн? С Уотом?

Нюргун ее за руку взял:

– Юрюн сильный. Самый сильный.

– Сильней тебя? Сильней Мюльдюна?

– Да.

– Значит, справится?

– Да.

– Точно?

– Да.

Я его слушаю, смотрю, а уже пятый кусок подъедаю. И молчат они, куски-то! Не пристают с вопросами. Уверенный он, Нюргун, убедительный! Правильно я его тогда спасла. Когда? Ну тогда, когда его от столба домой забрали. Помните, я к нему прилетела и спасла? Уморил бы его Юрюн без меня, это я вам точно говорю!

Вот тут темно и стало. Нет, еще не темно.

Громко стало:

– Кур-гын! Куур-гыын¹⁵!!!

Я думала: дом рухнул. А что? Взял и рухнул, просто я еще

¹⁵ Подражание звуку осыпи, обрушения. Букв. «рухнуть с шумом».

не до конца заметила. Стены дрожат, посуда валится, по полу скачет. Кровля над головами пляшет. Дом у нас крепкий? Крепкий. Места много? Много. Вот по всему дому и громы-хает. Где погром, где эхо – не разобрать. И опять:

– Ку-у-у-р! Гы-ы-ы-ннн!

Четыре раза подряд. Нет, дом стоит. Мы сидим. Мы с мамой, значит, сидим, а Нюргун встает. Большой такой встает, широченный, аж глазам страшно.

– Пойду, – говорит. – Посмотрю.

И еще:

– Не люблю.

А кто любит? Я вот ни капельки не люблю, если кур-гын! И мама не любит. Бледная она, мама, губы дрожат.

– Иди, – соглашается. – Посмотри. И быстро назад.

Это она Нюргуну, да? Как маленькому!

Я к окну – прыг! Зачем? Ну, чтобы первой все увидеть. Обидно будет, если Нюргун первый. Наружу я идти не боюсь, просто не хочу. Я ничего не боюсь! И маму нельзя одну бросить. Она со страху умрет, если без меня. А за окном – пылица! А за окном – вихрь-ураган! Помните про темно? Вот оно и делается темно: мрак-мрачище! Только и вижу, что лесного деда. Ну, так вижу, не очень. И дед как бы не дед. Лохмы, космы, сам бурый, черный, в колтунах. Лапы враслопырку, башка чурбаном. Здоровущий! – вроде скалы-утеса. На двор – кур-гын! С высоты высоченной, как с неба соскочил. И осколками, брызгами во все стороны – хлопысть!

Был, и нет его.

– Что там? – спрашивает мама.

– Кто там, – отвечаю. – Нюргун.

А там и правда Нюргун. Стоит в пыли, озирается. Панцирь на нем сверкает. Солнца нет, а панцирь сверкает. Представляете? И меч сверкает. И еще что-то сверкает. Даже развиднелось чуточку. Это оно зря. Лучше бы пыль, лучше бы я этого гадкого восьминога и видеть не видела, и знать бы не знала.

– Нюргун! – кричу. – Вон он!

– Бей! – кричу. – Бей его!

А если ой-боой кричу, так это не потому что испугалась. Просто на язык подвернулось. Вам и не то еще подвернется, если восьминог! Три головы: пасти скалятся, слюни текут. Сам в чешуе, из брюха лапа торчит. Толстенная, жирнущая, в узлах. А из нее восемь плетей ногастых по земле: шлеп-шлеп! И когтищами: шкряб-шкряб! И не пойми чем: шур-шур!

Я в доме, за стеной, а слышно!

– Мамочки!

Это мама. Свою маму вспомнила, мою бабушку. Рядом встала, в окно глянула – тут кто хочешь родню помянет! Я бы много чего помянула, да при маме стыдно. А восьминог извернулся, спиной вниз, тут она с него и свалилась. Кто? Глыба. Глыбища! Мерзость, безобразие. Скорлупа – бздыннь! Вторая скорлупа – бздыннь! Третья...

Я вам говорила, что он в три скорлупы спрятался? Кто он? Ну, это позже, не сейчас. Сейчас я и не подозревала, кто он, и вам не расскажу.

– Не надо, – говорит Нюргун. – Не люблю.

Третья скорлупа – бздыннь! Восьминог – фр-р-р-р! Нет его, улетел. Надо же, крыльев нет, а летает. Взвился в воздух и падучей звездой за край небес... Всё, короче. Сгинул.

А Нюргун свое долдонит:

– Не надо. Не люблю.

Кому это он? Нет, не вижу. А, вижу. Пыль клубится, Нюргун сверкает, а по двору три тени шастают. Бойкие такие, оружием грозят. Вроде как три боотура на солнышко вышли, тени отбросили, а те возьми и начни своевольничать. То сбоку зайдут, то в лоб.

– Не надо.

– Эй, девчонка! Иди сюда...

– Это я девчонка? Дурак! На себя посмотри!

Так, опять вперед забежала. Возвращаемся, хорошо? То есть ничего хорошего, если он стоит и ухмыляется. На дворе пыль, на дворе Нюргун, на дворе тени скачут, а он в доме и зубы скалит. Мелкий, тощий, плюгавый. На вид лет десять, может, одиннадцать. Молокосос! Девчонка я ему!

– Это я дурак?

– Ты!

– Я не дурак! Я Эсех Харбыр!

– Эсех он! Харбыр он! Дурак!

– Дура!

– Сам дурак!

– Ну все! Надоела!

Вот скажите, если я ему надоела, зачем меня хватать? Мама в крик, Нюргун в дом, тени врассыпную, только поздно. Этот Эсех большой сделался, в доспехе. Хвать меня поперек! На плечо вскинул и дёру!

Нет, не помню. Дальше ничего не помню. Затылком ударилась.

Песня третья

*Ах ты, бесстыдница с бледным лицом!
Ах ты, дерзкая!
Как осмелилась ты
Так говорить с отцом?
Мне дороже жизни троих детей
Эти три моих волоска...
Ни одного не отдам!*

«Нюргун Боотур Стремительный»

1. Дорога в Нижний мир

Рассказ дяди Сарына занозой сидел в моей голове – как бы она, родимая, ни расширялась. Будто не Мотылек, а я ту пластинку съел. Перевал? Усыхаем, осматриваемся. Утро. Солнце за спиной. Под горой – алас. Все верно, с пути не сбились. Вперед! И да будет стремительным наш полет!

Чужой алас мы с Мотыльком промахнули, не заметили. Вихрем пронеслись! Местные только рты нам вслед разинули. Перекресток? Восемь дорог? Девять? Без разницы! На запад!

Да будет стремительным...

Дорога кончилась, когда солнце уже валилось за горы. Была и нет, юркнула змеей в траву. Ну да, в траву. В аласе еще

снег до конца не сошел, а тут – зелень под копытами. На полторы ладони вымахала. Лес кудрявится: почки лопнули, листва наружу прёт. Чудеса! Весна быстрее коня мчится!

Весна, не весна, утро, вечер – я готов был скакать день и ночь. Ну почему я не могу, как Уот, махнуть напрямик в Нижний мир? Сказал: «Провалиться мне сквозь землю!» – раз, и уже на месте!

Несправедливо!

Ага, бездорожье. Вижу, еду. Нет, не еду. Спешился. Молодая травка – это кстати. Отличный ужин для Мотылька. С утра, да с новыми силами – оно быстрее выйдет, чем на ночь глядя через чащу ломиться. Пасись, Мотылек, я на опушке посижу. Костер? Обойдусь. Теплынь стоит небывалая! Перекушу всухомятку, запью водой из ручейка – и спать.

Обычное дело.

Что, говорите? Волки? Лесной дед? Не завидую я тем волкам, что решат закусить Мотыльком! Видел я, как он волчью стаю гоняет: любо-дорого посмотреть! И с лесным дедом, если один на один... Обо мне и речи нет. Я, конечно, слабак, но не настолько же!

Ночь. Утро. Я в седле.

Да расширится моя голова!

Стена. Справа, слева. Две стены. Деревья. Мелькают. Сливаются. Уносятся прочь. Быстро. Очень быстро! Скачем. Несемся. Спешим. Хруст, треск. Подлесок под копытами. Завал, бурелом. Впереди. Позади. Скачи, Мотылек! Пере-

скакивай! Лучший в мире конь. Кэр-буу!

Лес. Где лес? Нету леса.

Кончился.

Болото: хлюп-хлюп, чуп-чуп. Кочки, бочаги. Грязь, брызги. Блестят, сверкают. Солнце светит. В глаза светит. Было в спину. Вечер? Ну, вечер. Мотылек, ты устал? И я нет.

Скачем.

Жаба! Большущая. Больше меня. Жаба – прыг! Мотылек ее – тресь! Шмяк! Летит. Жаба летит. Кувыркается. Хы-хык! Гы-гык! Смешно! Хлюп! Утонула. Еще жабы. Еще больше. Глаза вылупили. Квакают. Прыг? Нет, не прыг. Боятся.

Умные жабы!

Нет солнца. Ночь. Небо. Черное. Звезды. Время. Горит в звездах. Кто сказал? Забыл. Гори-гори ярче! Сильнее! Быстрее! Доскачу, Жаворонка вызволю! Моё! Моя! А-а, буйа-буйа-буйакам! Спасу! Отберу!

Никому не отдам!

Мчимся.

Под копытами – ковер. Упругий, пестрый. На зелени – лагузь. Желтизна, багрянец. Тундра! Цветет. От края до края. Весна. Совсем весна. Ветер в лицо. Мёдом пахнет.

Хорошо! Люблю!

Солнце. За ним! Нет, не догнать. Закатилось, спряталось. Ночь. День. Ночь. День. День. Крутится. Над головой. Крутится-вертится. Блестит. Обод! Обод Небес. Помню. Видел.

Край. Край Осьмикрайней.

Добрались! Усохни, балбес!

Усыхаю.

Этот вход в Нижний мир был похож и в то же время ни капельки непохож на Елю-Чёркёчёх. Круглая дыра в земле, шагов сто в поперечнике. Никакой засохшей крови – камень, шершавый и ноздреватый, унылого серого цвета. Здесь все, что ни есть – серятина и уныние. Голодный паучище выпил, высосал из мира живые соки, живые краски. Стальной Обод Небес над головой, камень-пепел под ногами. Ни былинки, ни кустика. Хоть бы ржавчина лишайника! И ступени, грубые ступени уходят вниз крутым уклоном. Я спешился, повел Мотылька в поводу. Бедняга спускался боком – не для коней высекали эти ступени, ох, не для коней!

Ничего, справимся.

Мрак сгущался. В глубине земной кишки вздыхали, стояли. На уши давил шорох невидимых крыльев. Кажется, над нами кружила целая стая илбисов, чуя скорую поживу. Не дождетесь! Не будет вам поживы! Слышите?

Прочь летите!

Проход сузился, вильнул вправо, влево, сделался положим. Ступени сгладились, Мотылек приободрился. Я взобрался в седло, и мой конь пошел рысью. Дробный стук копыт бился в стены, улетал, возвращался ударами колотушки о бубен, сам на себя не похожий.

– До Уотова жилища еще далеко, – вслух сказал я. –

Авось, не услышит.

Накликал, слышали. В прорве завывало, засвистело. По лицу хлестнула ледяная плеть ветра. Наверное, метель-вьюга притаилась до поры в Нижнем мире, а теперь решила вырваться наружу, заморозить распоясавшуюся не ко сроку весну.

Ха! К вьюгам нам не привыкать. Я лишь доху запахнул и шапку поглубже нахлобучил. Вот когда мы Нюргуна в Кузню везли, тогда буран был! Зверь-буранище! А это так, баловство. Ну, воет. Ну, холодно. Холодно. Очень холодно. Зато снега нет, и видно все, пусть и темно кругом. Череп, например, я отлично вижу. И второй череп. И третий. Четвертый. Сколько черепов ни есть, все вижу. Высохшие, серо-желтые, с черными провалами глазниц. Вихрь крутил их мертвецким хороводом, костяной трещоткой. Черепа с сухим стуком ударялись друг о друга и разлетались – нет, не в куски, просто в разные стороны.

По бокам, ближе к стенам, белели старые кости. Человеческие: ребра, позвонки. В отличие от черепов, они лежали смирно и никуда не летели. Сколько ж тут народу полегло? И от чего, спрашивается? Нет же ни души!

– Эй! Кто здесь?

Тьма ответила. Заклубилась, уплотнилась: облако? грозовая туча! В сердцевине мрака начали роиться смутные тени. Ко мне потянулись когтистые лапы, клювы в зазубринах, клешни, измазанные гнилой кровью. Юрюн-боотур жи-

во пробудился и полез наружу: рубить-кромсать вредную пакость. «Угомонись! – гаркнул я на него. – Морок, наваждение!» Юрюн-боотур оказался недоверчив, подкатил к самому горлу: «Враги! Убью!» Но я ехал и ехал, а чуды-юды тянулись и тянулись, и все никак не могли дотянуться до меня. Ерзали лапы, щелкали клювы, стылый ветер вонял падалью и тленом.

Я чихнул, и ветер выдохся, и Юрюн-боотур задремал.

Много позже, когда все закончилось – к добру, к худу ли – я не раз вспоминал эту дорогу. И знаете, что? В конце концов я решил включить путь в Нижний мир в число своих немногочисленных, а если честно, еще и сомнительных подвигов. Точно вам говорю! Думаете, легко было не восстать оружным боотуром, не наброситься на призраков? Легко всю дорогу самого себя в стальных клещах держать, крепче мастера Кытая? Куда легче – кырык! Меч свистит, воздух пластает, лапы-клешни сечет: вззы-вззы! Колотушка черепа дробит: бум-хрясть! А они лезут и лезут: мрака в подземной кишке навалом, до скончания времен хватит. Боотур счастлив: битва, великая битва! Один против всех, все против одного, кэр-буу! Уже и забыл, зачем ехал, куда спешил...

Там бы и лег, когда силы кончились. Кости к костям, череп к черепу. Да, подвиг. Как сумел – ума не приложу. Скажу вам по секрету: мне все Нюргун за плечом мерещился. Нутром чуял: здесь он, со мной! Только руку протяни. Оборачиваюсь – нет никого. А рядом, и всё тут. «Ты зови, – молчит. –

Я услышу. Приду.» Ага, молчу. Надо будет, позову. Позже. Сейчас не надо. «Не надо, – соглашается он. – Люблю.» И на сердце теплеет.

А что? Обычное дело.

2. Муус-Кудулу

Море торжествующе гремело.

Я вспомнил стылый простор, открывшийся мне в детские годы, на пути к Елю-Чёркёчёх. Простора хватало и здесь. Дальний берег терялся в туманной мгле. Зябкий холод пробирал до костей. Брызги жгли каплями пылающей смолы. Грохотали, сталкиваясь, льдины-великанши; меж них к мутным, вихрящимся небесам взлетали столбы жидкого огня. У моря было много общего со взглядом Первого Человека, когда я прятался в ложбине, а они пронеслись надо мной: мороз и жарынь, рука об руку.

Лед и пламя. Муус-Кудулу.

Залив Лэбийэ.

Могучие валы с яростью били в утес, словно желали сбросить меня с вершины. Вода – грязная сталь, увенчанная шапками пены. Черный гранит содрогался под ногами. Обогнув скалу, волны выплескивались на каменистый берег и откатывались обратно со змеиным шипением, едва различимым в грохоте прибоя. На берегу оставались куски ледяной шуги,дохлая рыба, водоросли, чьи-то обточенные до блеска

позвонки. Мусор вспыхивал чадным пламенем, оставляя на гальке жирные потеки копоти.

Куда дальше? Я тронул коня за шею, потерялся лбом о его лоб.

– Давай, друг, выручай.

Мотылек еле слышно загудел. С этим же урчанием он съел медную пластинку дяди Сарына. Дорогу вспоминает? Я хотел забраться в седло, но тут Мотылек выдохнул с таким шумом, что перекрыл грохот прибоя. Из конских ноздрей изверглось облако пара, но не рассеялось, а повисло в воздухе, загустело кислым молоком. Ветер силился его порвать, унести прочь – куда там! Облако не шелохнулось. По нему прошла рябь, и облако превратилось в дыру. Сквозь дыру я рассчитывал увидеть море, но видел совсем другое.

Гора: огромная, черная. Она извергала бурый дым, плевалась искрами в мглистое небо. Когда гора сдвинулась с места, приближаясь, я отступил на шаг. Испугался? Нет, просто не хотел, чтобы жгучий плевок угодил в меня.

А вы бы хотели? То-то же.

Отчаянно заржал Мотылек. Я вздрогнул, но нет, Мотылек рядом со мной не издал ни звука. Он ржал там, в дыре-облаке, укрытый в недрах черной горы. Конское ржание превратило гору в железный дом. Крыша шелушилась ржавчиной, блестела граненая труба. Кузня! Жилище мастера Кытая! Стены Кузни ринулись на нас, как всадники на врага, расступились, истаяли, и вот я уже внутри. Нет, снаружи. Я

стоял на утесе, обнимая за шею своего коня, которого была мелкая дрожь – и в то же время я был в Кузне. В детстве я не видел, как кузнец ковал Мотылька, только слышал.

Вот, увидел.

Исполин-молот взлетает к потолку. Я взлетаю вместе с молотом. Не потолок – небо: вихрится тучами, полыхает зарницами. Гром! Молния! Молот рушится на наковальню, на Мотылька. Конь визжит. Я крепче обнимаю его за шею. Я – бесплотный невидимка – смотрю, как молот крушит плоть и кости Мотылька.

Я лечу. Лечу под грозовым небом, над сталью бесноватых волн Муус-Кудулу. Я в седле. Три Юрюна, три Мотылька. На утесе, в Кузне, над морем. Кто настоящий? Прошлый? Будущий?! Кузня – утес – полет: прошлое, настоящее и будущее! Мы не объедем залив, мы его перелетим!

Молот трудится. Надвигается темный берег, изрезанный устьями рек. Грохот прибоя. Лязг железа. Мотылек ржет в небе. Ржет в Кузне. Храпит у меня над ухом. Неужели иначе – никак?! Мой конь, почему ты должен снова пережить боль и ужас?!

Никак, храпит Мотылек. Иначе ничего не выйдет.

Море остается позади. Внизу громоздятся серые валуны. Впереди вздымаются пестрые горы. Скачем? Летим? Пылают горн. Под ударами молота шкура Мотылька лопается. Вместо белых костей и красного мяса наружу проступает блестящий металл. Сумрачные склоны покрыла увядшая трава. Ча-

стоколом замер обугленный, мертвый лес-сухостой. Мастер Кытай берет молоток поменьше. На лице кузнеца играют отсветы пламени. Горн? Море? Пенится, бурлит река. Над водой нависли заросли ивняка. На высоком берегу, на зеленом лугу – нарядная юрта. Полог откидывается...

Падаю, падаю – во мрак, в бездну Елю-Чёркёчёх! Где ты, добрая нянюшка Бёгё-Люкэн? Встречай! Мотылек ослаб, у него нет сил лететь со всадником на спине. Падаем вместе. Правое ухо коня мерцает тусклым серебром, дергается. Что в нем? Запускаю руку внутрь. Под пальцами – живое, теплое, пушистое. Птенец!

Орленок.

...стою на утесе. В руке трепыхается птенец. Разевает клюв, пищит; растет – не удержать. Да уймись ты! В сказках, помню, волшебных тварей следовало охаживать плетью – тогда сделают, что попросишь.

У меня есть плеть!

Держу. Хлещу. Будешь меня слушаться?! Будешь?! Птенец большой. Большой. Очень большой. Врешь, не вырвешься! Писк превращается в гортанный клекот. В глотке птенца – да какой ты птенец?! орёл! орлище! – лязгает. С противным скрипом орёл-орлище распахивает клюв: шире, еще шире. Проглотить меня надумал? В эдакую прорву я и верхом въеду!

Орёл замирает. Кажется, даже не дышит. Вместо нежного пуха тело орла покрывают жесткие серо-черные перья. На

ошупь они твердые, как гранит. Окаменел, что ли? Заглядываю в разинутый настежь клюв.

Бай-даа!

Внутри клюва – целый мир. Трава колыхается, ручьи звенят. Веет теплый ветерок. А вдалеке – мерцает, блестит, подмигивает.

– Жди здесь. Я быстро!

Сигаю в клюв – и бегом по медвяной траве. Зря, что ли, Мотылек птенца из уха рожал? Ага, две коновязи: медные, высоченные. На одной верхушке – жёлтое яйцо, на другой – кустик растёт. Нежный, кудрявый, сочный. Слыхал я про Желтую Благодать, а вижу впервые. Чудесный кустик – для Мотылька, Жёлтая Благодать – для меня. Иначе нам моря не перелететь. Кланяюсь в пояс, возношу благодарность хозяевам здешних мест, кто бы они ни были – и несусь обратно, пока орлище клюв не захлопнуло.

С него станется!

* * *

Я несся по небу верхом на Мотыльке. Под блеск зарниц, над яростью волн ледовитого моря. Будущее стало настоящим и обернулось прошлым, исчезло за спиной. Сказка кончилась. Пронизанный солнцем мир, спрятанный в клюве, подергивался голубой дымкой, таял в моей памяти. Жёлтая Благодать на вкус оказалась как желток с мёдом. Чуп-чуп,

уруй-туску! Объединье! И сил вдесятеро прибавилось – я едва не забоотурился на радостях. Не знаю, каким на вкус был чудо-кустик, но, судя по Мотыльку, ему тоже понравилось. Залоснился, красавец, глаза загорелись – так и рвался взлететь!

Орла я загнал обратно коню в ухо. Вдруг еще пригодится? Отхлестал орлище плетью, он и уменьшился до птенца. Пока я с птицей возился, Мотылек от нетерпения бил в утес копытом. Едва не раскрошил! – утес, в смысле, не копыто. Уже и трещины пошли. А когда я вскочил в седло – тут же прянул в небо.

Берег близко. Устье реки, серые валуны, пестрые горы. Склоны, горелый сухостой. Говорят, многие хотели бы знать будущее. Ну вот, знаю. Скучное это дело – всё наперед знать. Хорошо, что знание мое сейчас закончится, и дальше опять пойдет новое-интересное.

Вот и дивная юрта на зеленом лугу.

Полог откидывается...

3. Смеху-то!

– Юрюнчик! – кричит мама.

– Юрюн! – кричит Жаворонок.

– Дурак! – кричит Айталын.

И все трое плачут в голос. Ой-боой, как же они плачут! Рыдают, трут кулачками глаза, носами шмыгают. Я сам чуть

не разрыдался. Нет, мне нельзя, я боотур. Я спасти их приехал.

Стойте! Почему – их? Я ведь за Жаворонком ехал!

– Украл! – жалуется мама.

– Похитили! – жалуется Жаворонок.

– Силой увезли! – жалуется Айталын.

И хором, на три голоса:

– Юрюнчик! Вызволяй!

А сами из юрты – ни ногой. Полог откинули, высунулись до пояса: Жаворонок над Айталын, Айталын над мамой, мама нижняя. Слезы по щекам текут, каплют. У Жаворонка на Айталын, у Айталын на маму, у мамы на землю. Вон, целую лужу наплакали.

Отчего бы им не выйти? Караул сторожит? Не пускает?! Оглядываюсь: никого. Хотя бы самый завалящий адьяраишко, или там жаба-страшила! И голова моя не спешит расширяться. И полет не стремителен. Сидит Юрюн-боотур смирно, не чувствует опасности. Лишь копошение в голове, шуршание, шорох. Мысли паутинкой заплетаются. Я вдохну, они закачаются. Я выдохну, они замрут без движения.

– Юрта! – объясняет мама.

– Заколдованная! – объясняет Жаворонок.

– Наружу ни ногой! – объясняет Айталын. – Сидим как дуры!

На Жаворонке – оленья доха цвета мокрой глины. Опушка из битого сединой бобра. Рысьи клинья на груди, бляшки

червонной меди. Такой она приехала к нам с Нюргуном: насмеяться. Такой она была в Кузне: вопила от страха. Такой я уносил ее от наковальни.

«Сама идти можешь?»

«Не-е-ет...»

Помню.

На Айталын – папина доха из семи козых шкур, внаброску на плечи. Под дохой – другая, рысья, мамина. Под рысьей – кафтан праздничный. Под праздничным – простой, ровдужный. Две шапки, одна поверх другой. Такой она пряталась в облаке. Такой бежала с небес на землю, к нам с Нюргуном. Спорила, билась с Мюльдюном-бёгё на словах-кулачках. Стояла стеной: пропадете без меня пропадом!

«Дома я, понял! Силач безмозглый!»

«Ты? Дома?»

«Да! Я здесь живу!»

«С каких пор?»

«С теперешних!»

Помню.

На маме – как обычно. Как в раннем детстве: не знаю, что, только светится. От маминой улыбки тепло-тепло. Уголки рта сами к ушам ползут: улыбнуться в ответ. Мама стоит, а вроде плывет. Уточкой плывет, по водной глади. Добрая, тихая радость; солнечная Нуралдин-хотун. И не было бледных щек, красных глаз, дрожащих губ. Ночных откровений не было. И я по сей день маленький. Сильный? Это пустяки,

я и маленький – сильный, и большой – сильный, и всякий.

«Ты растешь, тебе нужно хорошо питаться...»

«Да, мам.»

«Как раз горяченькое поспело...»

«Спасибо, мам! Я тебя люблю!»

«Кушай на здоровье...»

Помню.

Качаются мысли в паутине, звенят. Пом-ню, пом-ню. Пом-пом-пом. Н-ню-ю, ню-ню-ню. Пню, дню, подниму-уро-ню. Зачем приехал? Чего хотел? Хорошо, что тут мама. И Айталын. И Жаворонок. Хорошо. Хорошо. Очень хорошо.

– Лучше ты к нам, – зовет мама.

– Поешь, – зовет Жаворонок. – Напьешься.

– И сразу спасёшь, – обещает Айталын. – Сразу-сразу!

– Да-да-да!

– Сюда-сюда-сюда!

А в юрте расстелено-накрыто. А в юрте запахи-ароматы, пир горой. А в юрте – я, Юрюн Уолан. Когда вошел? Что сказал? Я вообще ни словечка не произнес. Увидел их, родных моих людей-женщин, и с той поры молчу рыбой. Я рыбой молчу, а они мне отвечают. Чудеса! Я молчу, они отвечают. Да, рыба. Вот балхай-студень, и налимья печенка горкой. Вот хрусткий былабыт¹⁶ плавает в горячем жиру. Вот

¹⁶ Рыбу варят, очищают от костей, поджаривают. Разминают в крупу, заливают горячим рыбьим жиром.

копченая дюкула¹⁷, а вот и вяленая. Мелкая стерлядь целиком, прямо с углей.

Вкусно!

– Ты растешь, – радуется мама.

– Место на месте, – радуется Жаворонок.

– И заправочку, – радуется Айталын.

– Тебе нужно хорошо питаться...

– Жених на невесте!

– Кисленькую! Остренькую!

Я жую. Глотаю. Радуюсь молча. Жаль, папы тут нет. Выпил бы с нами кумыса. Ага, вот и кумыс. Пью. Пьянею. Хорошо. А вот и папа? Нет, папы по-прежнему нет. Нет-нет-нет. Па-па-па.

Юрта кружится.

Быстро. Еще быстрее. Еще! В восточной стене – дверь. Это для гостей и хозяев. В северной стене – дверь. Это в хлев для скота. В южной – окошко. В западной – окошко. В окошках – сетки из конских волос. Дверь. Окно. Окно. Дверь. Дверь-окно-окно-дверь. Дверёк-ноок-нодверь. Верь-но-но-верь.

Верю. Хорошо.

Юрта вертится волчком.

Хорошо.

¹⁷ Крупную рыбу, за исключением щуки и налима, разделывают в виде двух пластин филе, соединенных у хвоста. Посолив, вывешивают для копчения или вяления.

Я сильный. Много съем. Много выпью.

Кружись, юрта! Кренись, юрта!

Кренится. Набок, набок, на бочок. Ты волчок, я бычок. Ложится. Спать ложится! Юрта! Смеху-то! Дальше ложится. Дальше некуда! Нет, есть куда. Переворачивается. Дымоходом – вниз. Земляным полом – вверх. А я-то на полу! А я-то сижу! Хы-хык! Нет, не сижу. Сползаю. Падаю. Падаю. В юрту, в воронку, в разинутый дымоход.

Тошнит. Желудок – наизнанку.

Блюю.

Балхаем-студнем блюю. Налимьей печенкой. Хрустким былабытом. Копченой дюкулой. Вяленой тоже блюю. Мелкой стерлядью. Зеленой желчью. Кровью блюю. Захлебываюсь.

– Вот ведь как! – хохочет мама.

– А вот так! – хохочет Жаворонок.

– Так его, так! – хохочет Айталын.

И глаза пучат. Две дюжины глаз на троих.

4. Паучий колодец

Жжёт!

Больно. Больно. Очень больно!

Огонь? Вода. Жижа. Жгучка-вонючка!

Не люблю! Больно! Заманили!

Вылезу. Выберусь. Вылезу.

Да. Да. Да.

Вылезу – убью!

Колодец. Глубокий. Скользкий.

Лезу. Падаю.

Когда мне снится кошмар о паучьем колодце, я просыпаюсь от собственного крика. Лежу, мокрый, и не всегда от пота. Над морем Муус-Кудулу я решил, что не хотел бы знать будущее, и сильно ошибся. С другой стороны, знание полезно, если ты в силах изменить будущее раньше, чем оно станет настоящим. А меня ведь предупреждали! Откидывается полог юрты – и я падаю в Елю-Чёркёчёх.

Не понял, не внял, не сопоставил.

Мое счастье, что я родился боотуром. Кого другого хищный сок колодца-желудка быстро разъел, растворил бы без остатка. Боотур, я держался до последнего. Рос, увеличивался, наращивал доспех. Шел в доспехе на дно, лишался доспеха, выныривал. Карабкался, напрягая изъеденные, изъязвленные мышцы. Позже, много позже мне объяснили: есть такой цветок – росянка. Ну, букашек жрет. Одурманивает всякими глупостями, заворачивает в листья и переваривает. Мне эту росянку даже показали. Забавно было глядеть, как глупая муха сама влетает в западню и превращается в пищу. Потом я вспомнил, как доброй волей вошел в юрту, и мне стало вовсе не забавно. Больно стало, страшно, отвратительно.

Словно нырнул не в память, а в смерть.

Боль. Смрад. Ожоги. Бесплодные попытки выбраться. После каждого падения силы тают снегом на летнем солнце. Не будь я боотуром, я бы умер, еще не успев окончательно стать едой – от отвращения. От безысходности. Все-таки у сильных есть свои преимущества, пусть мы все и балбесы. А может, балбес – это и есть преимущество?

Лезешь, и все тут.

Корячусь. Скользко!

Съезжаю. Падаю. В жижу.

Больно!

Наверху – тень. Кто?! Вылезу – убью!

Вылезу!

Упал. Плюх!

Хочу дышать. Очень хочу! Не могу...

Толкает. Снизу толкает! Враг! Хочет съесть!

Убью!

Брыкаюсь. Я – Мотылек.

Вынырываю. Воздух! Дышу, дышу.

Вонь? Дышать!

Тону.

Опять толкается. Укусил! Нет, не укусил.

Это жижка жжется.

Хотел укусить! Плохой. Очень плохой!

Убью!

Брыкаюсь.

Всплываю. Дышу.

Тону.

Я терял сознание. Проваливался в черноту, где не было ни времени, ни пространства. Зато там с лихвой хватало места боли, и я дрался за жизнь, не приходя в себя. Рычал, отплевывался, барахтался. Бил руками по ненавистной жиже, цеплялся ногтями за стены колодца. Дрянь разъедала меня, но на боотурах все заживает, как... Нет, на собаке заживает медленней. Не знаю, не с чем сравнить. Ну, вы поняли. Быстро заживает. Быстро. Очень быстро.

Убийственное состязание: кто кого. Голодная жижа против боотурской плоти. Она разъедает – я исцеляюсь; она разъедает – я... Но колодец мог ждать сколько угодно. Он никуда не спешил. А мой срок был на исходе. Я взбирался и падал, тонул и выныривал. Сколько я промучился в беспощадном желудке: день? неделю? После я никогда об этом не спрашивал.

В любом случае, один бы я сдался гораздо раньше.

Тьма. Свет. Вонь? Воздух!

Нет воздуха.

Тону. Жжет. Тону.

Толкает. Снизу. Выталкивает!

Враг? Плохой?

Вынырнул. Дышу. Снизу держит.
Помогает.
Друг. Хороший. Очень хороший!
Люблю.
Друг, ты кто?
Не отвечает. Не может. Меня держит.
Внизу темень. Муть. Не вижу, кто.
Держи, друг! Держи меня!
Друг держит.
Жижа жрет друга. Калечит. Друг держит.
Небо. Круть-верть. Небо, что с тобой?
Раскалывается.

Я уже говорил вам, что тут не все рассказы – мои? Наверное, оно и к лучшему. Что я могу рассказать о паучьем колодце, кроме дикого, звериного рева? Не надо вам такое слушать. У моей старшей сестры лучше получится.

5. Рассказ Айыы Умсур, Вышней Удаганки, старшей дочери Сиэр- тойона и Нуралдин-хотун, о трех золотых волосках ее отца

*...в том волосе – жизнь его,
Сына младшего твоего.*

*Если дашь – возьму,
И не дашь – возьму!*

– Дашь, возьму, – говорю я. – И не дашь, возьму.

– Дети, – вздыхает папа. – Как узнать, что они выросли?

– Как? – спрашиваю я.

– Пока дети маленькие, ты носишь их на руках. Сели на шею, значит, взрослые. Возьмешь? Дам, не дам, все равно возьмешь? Чего ты от меня хочешь, Умсур?

– Вот, – говорю я. – Смотри.

Нет, он не обернулся. Я показываю ему стрелу, а он, как и раньше, сидит ко мне спиной. Смотрит на горы, на синие, укутанные дымкой горы. Стрела и папа. Папа и стрела. Боевая устах-ох¹⁸, с наконечником в виде месяца-рогача. Папины ноги на перилах укутаны собольей дохой. Древко из лиственницы, с насадкой-свистулькой. Набрюшник из седого бобра, шапка брошена на скамью. Оперение – темно-бурые перья сарыча. Рука тянется к чорону, берет кубок. Кубок пуст, папа ждет, когда я наполню чорон. Я жду, когда он повернется ко мне.

Стрела и папа.

– Смотри, – повторяю я.

Он сдается. Он смотрит. Он видит стрелу. Наконечник изъела, сгрызла ржавчина. Правый рог месяца отвалился. На его месте – неприятного вида зазубрины. Перья облезли, тор-

¹⁸ Тип стрелы.

чат голые ости. Древко гниет, все в пятнах. Двумя пальцами переломишь.

– Чья стрела? – спрашивает папа.

– Юрюна.

– Он оставил тебе стрелу? Подарил?

– Нет. Я взяла ее без спросу.

– Украла?

– Пусть будет так.

– Ты хочешь, чтобы я тебя наказал? За воровство?

Папа сбрасывает ноги с перил. Начинает засучивать рукава. Обнажаются предплечья: мягкие, слабые руки человека, для которого тяжелейшая из работ – поднести к губам чорон с кумысом. Наказание? Папа шутит. Не к месту, не вовремя. Когда он видит, что шутка не удалась, он откатывает рукава обратно.

– Это смешно, Умсур. Я суров, но это я. Разбирайся с Юрюном сама, очень тебя прошу. Я здесь ни при чем.

Его лицо темнеет. Кажется, он понял.

– Ты заклала стрелу? На судьбу?

Я киваю.

– Дай сюда.

Он долго изучает стрелу. Хлам, гнилье, рыжую труху.

– Беда, – бормочет папа. – Большая беда.

– Спаси его, – требую я.

– Сейчас. Ты же видишь? Прямо сейчас....

Нет, папа говорит не о спасении. Он говорит совсем о дру-

гом. Мне холодно от звука его голоса. Я летела очень быстро, летела издалека. Я устала, я мерзну. Я еле держусь на ногах.

– Большая беда прямо сейчас...

– Спаси его!

– Как? Я не знаю, где он. Не знаю, что с ним.

– Он в беде. Тебе недостаточно?

– Даже если Юрюн гибнет в эту минуту, в его гибели нет нарушения закона. Боотур всю жизнь ходит по лезвию ножа. Боотур может умереть в любой момент. Меч, зверь, ловушка. Другой боотур. Чья-то подлость. Осыпь в горах.

– Чья-то подлость, – повторяю я.

Когда я бью, я не промахиваюсь.

Папе больно. Папа молчит. Хмурится:

– Тут нет ни малейшего нарушения закона. А значит, я бессилен. Ты пришла издеваться надо мной?! Мучить меня, да?!

– Мучить тебя? О да, конечно! Я прилетела сюда с гнилой стрелой твоего сына! Со стрелой, заклятой на судьбу! И все с одной-единственной целью: помучить тебя!

– И еще раз: чего ты хочешь, Умсур?

Я называю то, чего хочу, по имени. Я вижу, как он бледнеет. Без чужой помощи папа наливает себе кумыс из бурдюка. Залпом осушает чорон. Белые струйки текут у него по подбородку, пачкают одежду. Пенные усы моего отца. Пенная борода. Млечная кровь на кафтане.

– Открой дорогу, – я подхожу ближе. Вытираю кумыс ру-

кавом. – Открой свою, короткую дорогу. Дальше я справлюсь сама. Что-нибудь придумаю. Я знаю, ты можешь.

– Не могу. Не имею права.

– Можешь. Должен.

– Не могу! Я открываю короткую дорогу в одном-единственном случае. Где-то нарушают закон, и нарушают не по пустякам. Но этого мало, Умсур! Нарушители – упрямы, они отказываются подчиниться моему приговору. Тогда я дотягиваюсь до них отсюда, с веранды, и расстояние не помеха Закону-Владыке. Открой я дорогу просто так, повинуюсь собственному капризу, и я, Сиэр-тойон, стану нарушителем Закона. Ты хотя бы представляешь, чем это обернется?

– Дедушка Сэркен, – я смотрю в папины глаза. В них испуг. В них боль. И еще что-то, чему я не знаю названия, – поет, будто у тебя на голове растут три золотых волоска. И каждый волос – надежда.

– Ерунда! Сказки для детей!

– Подари мне один волосок, папа. Нет, не мне – Юрюну. Он – гвоздь, на котором держится наша семья. Выдерни гвоздь, и мы рассыплемся.

– Не проси!

– Дашь, возьму. И не дашь, возьму.

Это не я. Это Мюльдюн. Когда ему надо, он умеет ходить тише рыси. Мюльдюн-бёгё стоит у входа на веранду, и мне чудится, что он готов ринуться в бой. Со мной? С папой? С судьбой?!

– Ты тоже? – кричит папа. – Ты тоже принес мне стрелу?
– Нюргун, – говорит Мюльдюн.

Папин вопрос про стрелу застал его врасплох. На круглом, простоватом лице Мюльдюна – растерянность. А еще – решимость. Понятия не имею, как они уживаются вместе на одном лице.

Ответ Мюльдюна застаёт папу врасплох:

– Что – Нюргун?! Опять Нюргун?!

Мой брат берет лавчонку, стоящую под боком у отца. Вертит в руках. Ломает, смущается. Швыряет обломки за перила:

– Айталын похитили. Нюргун отправился в погоню.

Для Мюльдюна это – целый монолог. Да, я знаю, что такое монолог. Я – старшая дочь, я застала иные времена.

– И что я должен? – папа охрип. Сорвал голос: – Тебе я тоже должен?!

– Нюргуну. Должен.

– Я?!

– Ты, – Мюльдюн делается страшен. – Открой мне короткую дорогу.

– Зачем?

– Один он не справится. Я пойду на выручку.

И снова звучит:

– Дашь, возьму. И не дашь, возьму.

Это не я. И не Мюльдюн. Это мама. Вошла, встала между нами. Светится? Пылает! Вот-вот обожжет! Ей очень тяжело

в присутствии папы. Уж мне-то известно, как ей тяжело! Потому я и не вышла замуж за кого-нибудь из сонма. Сватались многие, я всем отказала. Судьбоносец Одун-Биис, громовик Сюнг-хан, водяной Едюгэт – улетели, уплыли, убрались ни с чем. А я, удаганка Умсур, осталась с холодным ложем, зато в здравом уме и трезвой памяти. Да, маме тяжело. Ей хочется на кухню, готовить еду. Хочется в спальню, перестилать ложа. Хочется в кладовку, перебирать запасы. Папа слишком близко, папа давит. Я впервые вижу, чтобы мама так долго, так стойко держалась при нём.

«Дашь, возьму, и не дашь, возьму!» – эти слова произносятся в крайних, отчаянных случаях. Просьба-требование – не думала, что однажды услышу ее из маминых уст, да еще обращенную к мужу. Все, что угодно, только не это.

– Тебе тоже? Тоже короткую дорогу?!

– Да.

– К Юрюну? Нюргуну? В Ледяную Вонючку¹⁹?!

– К Айталын.

– Что?!

– Девочка в беде, мне надо знать, что с ней. Три золотых волоска, Сиэр. И каждый – надежда. Подари мне один волосок.

– Это противозаконно!

– Это не тип-топ? Да, Сиэр? Ну скажи мне, что все тип-

¹⁹ Муус-Кюнкюйэ (Ледяная Вонючка) – горный проход, ведущий к кровавому морю.

топ!

– Замолчи!

– Что так будет легче! Давай, говори! Или заткнись и открывай дорогу!

О чем она? Когда я бью, я не промахиваюсь. Когда бьет мама... Я и представить не могу, что она имела в виду. Но папа делается похож на смертельно раненого человека. Я не знаю, что в этом сходстве удивительней – что на смертельно раненого или что на человека. На моих глазах он умирает и оживает вновь.

– Да, – произносит Сиэр-тойон. – Хорошо.

И встает навстречу нам:

– Вас трое. Сэркен поет о трех волосках. Но я открою лишь одну дорогу. Спросите, почему, и я отвечу. Две дороги, и я сдохну раньше, чем вы хлопнете в ладоши! Вам ясно?

– А если одна? – спрашивает Мюльдюн. – Тогда не сдохнешь?

Боотуры, они такие. Им лучше молчать.

– К кому идем? – вместо ответа спрашивает папа. Я слышу ответ в его вопросе, и ответ меня ужасает. – Ваш выбор, дорогие мои! Или вы хотели, чтобы гадкий Сиэр и открывал, и выбирал? Чтобы вы чистенькие, а я опять по уши в дерьме?

Когда я бью, я не промахиваюсь. Когда бьет мама, она бьет насмерть. Когда бьет Мюльдюн, он раскалывает гору. Но когда бьет папа... Мама закрывает рот ладонью. Мюльдюн отшатывается. Я чувствую, как начинает ломить затылок. Пте-

нец-орленок долбит клювом, рвется наружу. Я не могу выбрать. Я не могу. Я маленькая, я ребенок, выберите за меня. Я взрослая, я должна.

– Юрюн, – говорит мама. Голос ее дрожит: так дрожит сталь меча, рассекая воздух. – Ты откроешь дорогу к Юрюну. Он – гвоздь, на котором держится наша семья. Молчите! Закройте рты!

Это она мне с Мюльдюном. Только что мама повторила мои слова про гвоздь. И заставила нас онеметь внезапным окриком. Я ждала чего угодно, но от крика едва не лишилась сознания. Я забыла, как мама умеет кричать.

– Мама...

– Молчать! Вам нельзя выбирать. Я запрещаю.

– Почему?

– В любом случае потом вы будете мучиться всю жизнь. Ясно? Дети не имеют права голоса, за них выбирают родители. Верно, Сиэр?

– Значит, Юрюн? – папа стоит у перил, спиной к нам. – Да, Нуралдин. Вся жизнь я считал, что выбор – слишком тяжелая ноша, чтобы возлагать ее на близких людей. Я выбирал сам. Прости меня, я часто ошибался.

Он что, прощается?!

– Нарушение! – кричит папа. – Закон нарушен!

И гор, синих вершин на горизонте, больше не видно. Все пространство перед верандой заполняет стеклистая, бешено крутящаяся воронка. Я боюсь, что меня втянет в ее жерло.

Надо подойти ближе. Надо...

Подхожу. Хватаюсь за перила.

– Закон нарушен!

Из папиного носа течет кровь. Затекает в рот. Папа слизывает кровь с губ, сглатывает. Тыльные стороны папиных ладоней покрываются язвочками. Короста по краям, белесый гной в центре. Синие жилы вспухают на руках, делаются черными. Вот-вот лопнут. Голова трясется, как у дряхлого старца. На залысинах, щеках, шее – пятна цвета ольховой коры. В руке папа до сих пор держит Юрюнову стрелу.

– Нарушение!

Папа кричит о себе. Это он, Закон-Владыка, сейчас нарушает закон. Сам нарушает, сам себя казнит. И чем дольше он упорствует в нарушении, тем злее кара.

– Поторопись, – говорит он мне.

И снова:

– Закон нарушен!

В воронке – Юрюн. Я вижу! Воронка на две трети наполнена желто-зеленой жижей. Юрюн цепляется за гладкие, слизистые, пульсирующие стены, пытается выбраться вверх, ухватиться за край. Нет, соскальзывает. Вид его... Я не хочу об этом думать. И о том, как сейчас выглядит папа, я тоже думать не хочу.

Ремень! Почему я не взяла с собой ремень?!

– Вот, – говорит Мюльдюн.

Он держит аркан. Зимний аркан, обильно смазанный жи-

ром. Прочный, длинный, плетеный из четырех ремешков. На такой идет целая шкура дикого оленя. Мюльдюн-бёгё больше обычного – Мюльдюн-боотур. Я не спрашиваю, откуда у него аркан. Когда юные боотуры выбирают в Кузне оружие, там отыщется что угодно. В какой-то степени это не аркан, это часть моего брата, как палец или колено.

– Сейчас, – говорит Мюльдюн.

И бросает аркан в воронку. Солнце, преломившись через круговертъ зыбких стен, окрашивает аркан золотом. Золотой волос моего отца. Надежда. Я не вижу, схватился ли Юрюн за аркан, но вижу, что Мюльдюн тянет и не может вытянуть. Что-то держит, не пускает. Мюльдюн растет, тянет, пыхтит. Ему трудно.

Хватаюсь за аркан. Рядом с братом я – комар, жалкая пу-
стяковина. Я, Айыы Умсур – плюнуть и растереть. Вся моя сила – прах. Всю мою силу не запряжешь в повозку, не заставишь таскать камни. Ну и что? Тяну. Тяну с Седьмых небес из Нижнего мира. Юрюн барахтается в едкой жиже.левой рукой он вцепился в аркан, намотал ремни на локоть. Правой рукой он тащит кого-то из жижи. Да, теперь мне видно. Плохо, но видно. Кого ты тащишь, балбес? Брось! Брось немедленно! Мы и тебя-то одного...

Тяжело. Тяжело. Очень тяжело.

Очень далеко.

– Брось!

И ведь знаю, что он не бросит.

– Закон, – хрипит папа. – Закон нарушен!
Мама не позволяет ему упасть.

Песня четвертая

*Седловину священных гор,
Где рождается солнце-тойон,
Растоптали как тварог, богатыри,
Сравнили с темной землей.
Огорчилось солнце-тойон,
Отвертилось от мира совсем
Светлой своей стороной,
Повернулось к миру оно
Черной своей стороной.*

«Нюргун Боотур Стремительный»

1. Два калеки, три твари и кто-то шестой

Сгинула дивная юрта, как не бывало. И зеленый луг сгинул. Вместо них – каменистая осыпь: один неверный шаг, и скатишься в речку. Вон она, плещет-бурлит, по порогам белой скачет.

Речка никуда не делась. И колодец с жижей тоже. Я валялся на самом краешке. Снизу пахнуло тошнотворным смрадом, и меня чуть не вывернуло наизнанку. Торопясь, я откапился подальше от вечно голодной пакости. Не хватало еще обратно сверзиться! И как я эту вонь выдержал?! Это потому, что внизу я боотуром был. А сейчас – усохший. Силы

кончились, вот и усох.

Еще чуть-чуть, и усох бы до смерти.

Как это все-таки здорово: лежать на спине, дышать чистым воздухом! Надо мной затягивалась дыра в облаках. В дыре болтался, извиваясь змеей, золотой волос – кто-то проворно втягивал его назад на небо.

Кто меня вытащил? Кого вытащил я?

Смутно помнилось: я вцепляюсь в спасительный волос, другой рукой, обжигаясь и рыча, шарю в губительной топи, ищу неведомого друга. Эй, ты! Ты, кто поддерживал меня на плаву! Ты где? Ага, нашарил. Хватаю. Выskalъзывает. Хватаю. Волос натягивается тетивой: вот-вот порвется. Жилы натягиваются тетивой: вот-вот порвутся.

Дальше – не помню.

Рядом зашевелились. Я с трудом приподнялся, опираясь на локоть.

– Я очень рад, что вы живы, уважаемый Юрюн Уолан.

Металл вперемишку с человеческой плотью. Не поймешь, где заканчивается одно и начинается другое. По лицу, шее, плечам, по всему телу Баранчая пузырились волдыри. Там, где они лопнули, мокрели багровые язвы. Железо покрыла короста ржавчины, от нее отслаивались чешуйки, опадали рыжей хвоей. В груди и животе зияли рваные дыры. Я видел, как в утробе Баранчая что-то шевелится, перетекает, пузырится. В белесо-розовой слизи тускло отблескивала сталь.

– Я тоже рад! Я...

Голос подвел, но я справился:

– Я такой же красавец, как и ты?

– Вы гораздо красивее. Не надо на меня смотреть. Это плохое зрелище для выздоравливающего боотура. Не беспокойтесь обо мне: я восстановлюсь. Сердечно благодарю за спасение, Юрюн Уолан! Отныне я ваш должник до конца моего существования!

Когда он приложил руку к сердцу, в локте жалобно скрипнуло.

– Должник? Кто меня наверх выталкивал?!

– Я всего лишь слуга. Это мой долг.

– Но я же не твой хозяин!

– Это не важно. Вы не обязаны были меня спасать.

– Хватит!

Баранчай умолк.

– Начнешь снова, – предупредил я, – поссоримся. Понял?

– Я понял, Юрюн Уолан. Не хозяин, не слуга, но вы всегда можете рассчитывать на меня. Вам надо смыть с себя желудочный сок. Тогда ваше тело быстрее исцелится.

– Тебе, кстати, тоже умыться не повредит.

– Благодарю за заботу.

К речке мы спускались, как два калеки, поддерживая друг друга. Нас качало из стороны в сторону, колени подкашивались, камни выворачивались из-под ног. Баранчай держал меня, пока я мылся, потом я его. А когда мы, охая и кряхтя, взобрались обратно по склону...

– Мотылек!

Конь прижался ко мне горячим боком. Умница! Вода в речке текла ледяная. После купания меня бил озноб. Мотылек меня согрел, но я все равно дрожал от холода. Погодите! Дрожал не я. Дрожал мой конь. Стриг ушами, всхрапывал, мотал головой, косил налитым кровью глазом. И что там? Ну, осыпь. Валуны. Три холмика. Меж камнями торчат изломанные сухие стебли. Ничего особенного. Разве что вонь...

Эта вонь была иной, чем в колодце: душный, приторный смрад мертвечины. Мы с Баранчаем переглянулись. Дыры в слуге почти затянулись. Лицо его подергивалось странным образом. Из виска проросли шипы: короткие, острые. Правый глаз полыхнул радугой, засветился. Погас, помутнел...

– Идем, глянем?

Он кивнул.

Никакие это оказались не холмики. И не стебли. Три серо-бурых трупа, покрытые неприятного вида жесткими волосками, в окружении суставчатых лап, похожих на сломанные древки копий. Кривые жвала. Россыпь угасших глаз. Я не поленился сосчитать: у каждой твари их было восемь. Значит, мне не почудилось!

– Пауки!

– Паучихи, – уточнил Баранчай.

Одно из самых приятных зрелищ в моей жизни – три раздутых полусъеденных трупа паучих.

– Твоя работа?

Мотылек попятился: «Эй, хозяин?! Чтобы я такую дрянь ел?!» Ну да, верно: даже разделайся мой конь с паучихами, есть их он бы точно не стал. Местное зверье обглодало? Я пригляделся к смердящим останкам, отмахиваясь от жирных зеленых мух, жужжавших над падалью. Следы зубов имелись. Ох, имелись! Видал я остатки трапезы волков, рыси, лесного деда. С паучихами расправилась тварь покрупнее.

– Кто здесь? Выходи!

Никого. И все же затылком, спиной я ощущал чужое присутствие.

– Тут не стоит задерживаться, – обернулся я к Баранчаю.

– Вы совершенно правы, Юрюн Уолан. Но я не успел разведать дорогу к жилищу Уота Усутаакы. Прошу меня простить.

– Ничего, Мотылек знает. Доберусь.

И все-таки не выдержал, спросил:

– Слушай, Баранчай, а ты почему не задохнулся? Ну, когда меня держал?

– Я могу не дышать.

– Когда железный?

– Да.

– И долго?

– Очень долго.

– А почему тогда не вылез? Сразу, когда упал?

– Я, когда железный, плохо плаваю. Тону я.

– Ага, я тоже тону, когда в доспехе. Вот почему так, а?
– Законы, Юрюн Уолан. Спросите у отца, он знает.
– Вернусь, спрошу. А тебя-то как в ловушку заманили?
Баранчай смутился. Отвел взгляд в сторону:
– Я хоть и железный, но все-таки человек.
И больше ничего пояснять не стал.
А я не стал спрашивать.

2. Рассказ Айталын Куо, Красоты Неописуемой, младшей дочери Сиэр-тойона и Нуралдин-хотун, о ее похищении одним дураком (окончание)

Мамочки!

Нет, не годится. Мамочки – это уже потом.

И вовсе я не испугалась. Я от внезапности. А сперва была трясушка-моталка: туда-сюда, вверх-вниз, вправо-влево и еще как попало. Знаете, как попало? Как в Мюльдюновом облаке, когда оно взбесилось и скакать начало. А голова: ой-боой, абытай-хлахай! Я вам говорила, что затылком стукнулась? Шишку набила...

Да что ж меня так трясет?!

Открываю глаза, а перед глазами – живое! Жилы-корни, бугры-дергуны, шкура-чешуя. Ходуном ходит: то натянется, то в складки соберется. А я, значит, сию. Нет, лежу. Нет,

вишу. Точно, вишу поперек седла. Ноги там, голова тут. И не видно ничего. Ага, теперь видно.

Вот теперь – мамочки! Или еще не мамочки? Три шеи, три башки: с рогами, с шипами. Правая скалится, слюни пускает. А зубищи-то, зубищи! Восьминог, будь он проклят! Смотрю выше: и ты будь проклят! Кто? Да кто ж другой, если не Эсех Харбыр?! Тоже скалится, ухмыляется, слюни пускает. На меня, между прочим, пускает.

– Дурак! – кричу. – Назад меня вези!

А он:

– Шиш тебе! Лежи, добыча, помалкивай.

Добыча я ему!

– Будет тебе добыча! – кричу.

– Будет? Есть!

– Юрюн узнает, башку тебе открутит!

А он:

– Хыы-хыык! Гыы-гык!

– Мюльдюн узнает, в землю тебя вобьет!

А он:

– Ар-дьяалы²⁰!

– Мой папа – Закон-Владыка! В бараний рог тебя скрутит!

– А я тебя по закону увез!

– По какому-такому закону?!

– А невесту похищать можно, это все знают.

²⁰ Ар-дьяалы! – возглас, выражающий пренебрежение. В зависимости от ситуации и интонации также может выражать удивление.

Тут я аж поперхнулась:

– Невесту?!

– А то кого? Кобылу на приплод?

И лыбится, гадюка:

– У брата Тимира жена есть? Есть! У брата Алыпa жена есть? Есть! У брата Уота невеста есть? Есть! И у меня теперь есть! Нюргун-болван! Я его вокруг пальца обвел, заморочил! Самый лучший? Я – самый лучший!

Внизу камни – черные, горелые. На обочинах чадит-полыхает. Серой воняет – хоть нос затыкай! Нижний мир? Много ли увидишь, когда на седле вниз головой висишь?! Ну, и говорю я ему сладким голосом:

– Так ты теперь мой жених?

А он:

– Ну!

И грудь выпячивает, дурачина!

Тут я ему:

– Абахыран бют²¹! Жених он!

– Жених!

– Женилка у тебя, сопляка, не выросла!

Он аж взвился! Змей на дыбы встал, заплясал. У меня зубы лязгнули, и еще язык я прикусила. А все равно приятно: допекла дурака! В самую болячку саданула. Это я умею!

– Заткнись! – кричит. – Я не сопляк!

²¹ Абахыран бют! – очень грубое выражение; в смягченном переводе: «Прекрати нести чушь!» Употребляется по большей части девушками.

– А кто?

– Я Эсех Харбыр, великий боотур!

– Хвастун! Молокосос!

– Вот женюсь на тебе, будешь знать!

– Женится он! Нюргуна испугался? Удрал? Штаны смени, воняет!

– Ты! Девчонка!

– На что тебе невеста? Сопли вытирать? Вот твой брат Уот – боотур! В честном бою невесту добыл! А ты – ворюга, трусло мелкое...

Его затрясло всего. Я даже понадеялась: лопнет от злости! Нет, не лопнул. Жаль.

– Я тоже в бою! Я его победил!

– Кого? Хромого жеребенка?

– Нюргуна победил! Тебя забрал! Я – лучший!

– Ой, завидный жених! Я прямо вся дрожу!

Нет, это не я. И не он. Это земля дрожит. Грохочет. Я, как могла, извернулась, гляжу – мамочки! Теперь уж точно мамочки! Эсеха не испугалась, змея слюнявого не испугалась, а вот этого...

А вы бы не испугались?

Конь чернящий, страшенный. Из глаз огонь, из ноздрей пар, из-под копыт искры. Скачет – Осьмикрайняя ходуном! На коне – человек-гора, весь в железе. В руке – меч семисаженный! Ох, думаю, рубанет. Не рубанул, так подъехал. И говорит:

– Зря.

А потом еще раз:

– Зря. Не люблю.

Тут я его и узнала:

– Нюргун!

Думаете, он мне ответил? Поздоровался? Ага, размечтались! Махнул мечищем, словно меня и нету. Алатан-улатан! Отлетели, оторвались девять журавлиных голов! Ну, не девять, а три, и не журавлиных, а змеевых. Я с седла – хлоп! Сижу на камнях, вся горячим, липким перепачкана, и только глазами, как дура, хлопаю. Рядом змеюка дрыгается, кровь из шей хлещет. Эсех в доспехе, щитом прикрылся. Нюргун с коня прыгает...

Когда они сшиблись, земля раскололась.

Дальше – не помню.

Дальше полные мамочки.

3. Рассказ Айыы Умсур, Вышней Удаганки, старшей дочери Сиэр-тойона и Нуралдин-хотун, о великой битве Нюргуна Боотура Стремительного с Эсехом Харбыром, Хозяином Трех Теней

Ох, тошно,

Ох, больно мне!

*Содрогается утроба моя,
Ноем в брюхе,
Ломит в висках!..*

Когда земля вздрогнула, я сидела на кухне с мамой и Мюльдюном. Папа был очень плох, но нас он прогнал вшей. Лечение? Вон отсюда! Помощь? Вон отсюда! Уход? Вон... Хрипел с орона, куда его с трудом уложил Мюльдюн: – Без вас сдохну! Я суров...

Любимую папину присказку оборвал кашель, рвущий грудь в клочья.

Мама его не послушалась. Алаата! Вы слышите, что я говорю? Я и сама не верю: солнечная Нуралдин-хотун отказала в подчинении своему благородному супругу Сиэр-тойону! Девять журавлиных голов? Сотня оторвалась! Тысяча! Миллион! С упорством, от которого бы и гора сточилась до корней, мама пыталась напоить папу целебным отваром. Девять трав – этот сбор я ей сама дала в конце лета. Мама поила, папа не пил. Стискивал зубы, сжимал губы, отворачивался. Наконец он оттолкнул мамину руку, расплескав остатки снадобья, и начал вставать. Вставал папа долго, мучительно, глядя мимо мамы в стену. Я все ждала, что он закричит или хотя бы застонет, но нет, он молчал. По лбу и щекам Закона-Владыки градом катился пот. Лицо посерело, как березовая труха, жилы на шее натянулись кручеными ремнями. Руки – худые, жалкие – что есть сил уперлись в края оро-

на. Костяшки пальцев побелели. Хрустнули суставы: вот-вот сломаются...

И мама отступилась, а отец упал обратно на ложе. Дышал он тяжело, но хотя бы не задыхался. Стало ясно: если помогать отцу, добром или силой – он только хуже себе сделает. Он суров, и это он, хоть разбейся.

– Лучше его не трогать, – сказала я.

– Угу, – кивнул Мюльдюн.

Мама кусала губы. Отказаться от идеи помощи отцу – для нее это был камень, который невозможно поднять. Я думала, что мама надорвется, но она справилась.

– Кухня, – сказала я.

– Что – кухня? Что? Сколько можно – кухня?!

– Пойдем. Там тебе будет легче.

Мы ушли на кухню, все втроем. Нет, вчетвером – невидимый, бесплотный, с нами шел Юрюн. Я чувствовала на себе его взгляд. Ежилась, словно под затылком кто-то водил совиным перышком. Мы вытащили тебя, шепнула я Юрюну. Одна-единственная возможность, и мы ею воспользовались. Вытащили тебя и предали остальных. Ты смотришь на нас, даже если мне это всего лишь кажется, а мы боимся посмотреть друг на друга. Гвоздь, на котором держится семья, уцелел.

Цела ли семья?

– Сделать яичницу? – предложила мама. – Глазунью?

Отвечая на вопрос – на мой или на мамин? – пол под но-

гами задрожал. Поначалу это было едва заметно. В первый миг я, дурища безмозглая, даже решила: это меня трясет от усталости. Гаденько задребезжала посуда на полках. Верхнее из утиных яиц, горкой лежавших в миске на столе, качнулось. Как замороженная, я паялилась на яйцо: качается, качается, кача... Вывалилось. Подкатилось к краю стола. Упало на пол, разбилось. Всё, нет яйца. Я – теперь уже мы, мы все тупо глядели на клейкую лужицу. Посреди нее колыхался сплюснутый желток.

– Убрать? – мама потянулась к тряпке. – Мне не трудно.

Вот тут земля и вздрогнула по большому счету. И еще раз. Я с размаху села на лавку, больно ударившись копчиком. С лязгом и грохотом посыпались кубки, ложки, плошки. Земля пробуждалась от векового сна, передергивала могучими плечами, готовая воспрять. Земля? Мы же на небе! На Седьмом, предпоследнем! Из улуса неслись крики. Собаки заходились визгливым брёхом. Отчаянно, словно под ножом, заржала лошадь. Если у нас тут такой кавардак – что же творится внизу?!

Закон, подумала я. Закон нарушен.

Почему молчит папа?

Мысль о том, что Закон-Владыка мертв, и теперь возможно что угодно, главным образом, плохое – о, эта ужасная мысль отрезвила меня быстрее лохани воды, вылитой на голову. Типун тебе на язык, Айыы Умсур! В папиной власти законы разумных существ. Природа ему не подвластна. Вели

папа армиям: «Стой!» – и армии встанут, если папа прав. Но вели он стоять солнцу, ветру, порхающей бабочке...

Не знаю насчет солнца, но ветры и бабочки по моей части.

Толчки под ногами – потуги роженицы. Нет, удары колотушки в бубен. Лязг утвари – контрапункт бубенцов. Тоненький дребезг – звук надтреснутого хомуса. Ритм. Ловлю, разбегаюсь, ныряю в эту горную реку. У-ух! Дух захватывает. Река грохочет на крутых перекатах. Несет меня по течению. Глотаю ледяную воду. Мало! Еще! Ритм – вовне, внутри, во мне. Я – река. Берега делаются уже, я мчусь быстрее быстрого. Ритм частит, увлекает за собой. Стремнина превращается в нить: звонкую, натянутую до отказа. Нить опасно вибрирует, нижним концом уходя в преисподние недра, а верхним – в Вышнюю Бездну Одун²². Пропускаю нить через все три своих души, делаю ее путеводной.

Успею!

У меня свой закон, и он не должен быть нарушен.

Когда я опрометью, спотыкаясь, вылетела на крыльцо, Мюльдун все понял правильно – и выскочил следом:

– Я с тобой!

– Нет.

– Помогу!

– Нет.

– Я сильный!

– Сила там только все испортит. Ты не шаман. Береги ма-

²² Бездна Одун – Вышнее небо, глубина самого высокого неба.

му.

«И папу,» – молча добавила я.

Времени не осталось, но белый стерх все-таки сделал круг над домом.

* * *

*...там небо – черный каменный свод,
Ущербный месяц на нем
Корчится, как немой,
Который силится заговорить
И не может ни слова сказать.*

Темны пути удаганок, темны и извилисты. Когда нас зовет человек или дух, мы можем не прийти вообще или идти целую вечность. Но когда зовет судьба, наши дороги становятся короче предсмертного вздоха.

Жаль, что и вздох не мгновенен.

Я летела, падала, неслась. Я пронзала Небеса насквозь, одно за другим. Так игла легко пронзает плотные с виду ягоды можжевельника, нанизывает на нитку, превращает в бусы. Седьмое, шестое, пятое... Я – игла. Четвертое, третье... Нить – во мне.

А с ягодами творились злые чудеса.

Солнце пестрым беркутом взмывало в зенит и лиственницей, подрубленной под корень, рушилось за горизонт. Пада-

ла ночь: черней мокрой земли. Горели ли в той ночи звезды? Если и да, взгляд не успевал за их рождением и гибелью. Лесным пожаром вспыхивал день. Его гасил бурный ливень: вечер. Движение царило повсюду.

Солнце рыбьей желчью приклеили к выгоревшей, белесой дощечке небосклона. Скоро оно прожжет в доске обугленную дыру. Нет, не скоро. Здесь забыли, что значит скорость. Воздух застыл. Ветер окаменел. Замерли растрепанные ветви берез. Замер всадник на мохнатой лошадке. Замерло всё. Покой говорил: я есть жизнь, я есть смерть.

Солнце влажным, тускло блестящим слизнем ползло по облачной гряде. День клонился к закату. Удлинялись, колышались тени. Небо наливалось густой синевой сумерек. В соке дикой голубики, затопившем мир, вспыхивали робкие искорки: звезды...

Время! Время сошло с ума.

Заупрямилось. Взбесилось. Встало на дыбы жеребцом-трехлеткой. Понесло, закусив удила. Единый поток распался на слои и течения, разбился в куски, хлынул множеством своенравных ручьев. Каждый ручей тек сам по себе, бежал в своем ритме. Так бегут с поля боя воины разбитого отряда. Ковыляют раненые, падают мертвецы, спешат трусы. Время от времени – образ, убийственный в эту минуту! – ручьи пересекались, сливались, вспенивая буруны секунд и часов. Там, где происходила их встреча, пространство не выдерживало – вспучивалось уродливыми складками, съе-

живалось плохо выделанной шкурой, шло трещинами, проваливалось в собственное чрево. Земля, Небеса, Нижний мир – рушились и восставали из бездн горы, огонь извергался из недр, черные смерчи, бешено крутятся, взмывали к тучам, вертели в танце валуны, деревья, вырванные с корнем, людей, коней, лесную живность. Деревья вырастали в считанные мгновенья, надевали и сбрасывали листву, засыхали, падали, сгнивали. Реки меняли русла, озера зарастали илом и ряской, превращались в топкие болота; из чащи выходили невиданные, невозможные, давно ставшие легендой звери...

Солнце. Здесь оно сломя голову неслось с запада на восток! Ночь, день, ночь, день... Едва успев распуститься, листья сворачивались, вновь становились почками. Трава втягивалась в землю, а земля покрывалась серым, ноздреватым снегом. Пролетая сквозь Первое небо, где время повернуло вспять, я замедлила полет, отыгрывая то, что, казалось, без возврата утратила на других Небесах. Все, что я видела – оно еще не произошло! Есть шанс, соломинка, за которую надо ухватиться!

Средний мир я не успела разглядеть. Нить, на которую я была нанизана, вибрировала с яростью, грозящей разорвать меня пополам. Источник ее гибельной дрожи, волнами расходившейся по Трехмирию, был уже близко.

Рядом.



*Это была
Жестокая брань,
Это был
Небывалый бой.
Девять вихрей, воя, взвились
От взмаха широкого
Их дубин;
Девять вихрей, клубясь в высоте,
Сбили подземные облака,
Загрохотала гроза...*

От удара я ослепла. Тяжелая палица, обмотанная мягким тряпьем, с размаху опустилась на темя. Тупая, давящая боль разбежалась по телу – круги от брошенного в воду камня. Лежу на спине, беззвучно разеваю клюв, силюсь вдохнуть. Лапы скребут горячий, шершавый камень, крылья беспомощно раскинуты.

Во что я врезалась?!

Они были рядом, в полусотне шагов: Нюргун и бо-отур-адьярай – огромные, dospeshnye. Земля глухо стонала под их тяжестью. Между нами исходил вонючим серным дымом свежий разлом. Внизу, в сполохах багрового пламени, клокотало и булькало. Взлетали вязкие огненные плевки...

Сейчас сойдутся!

Все тело ломило. По длинной, будь она проклята, журавлиной шее прокатывались волны тошноты. Голова шла кругом. Жива? Кости целы? Я встала, взмахнула крыльями. Земля ушла вниз, мне сразу полегчало. Полет исцелял стерха. Туда, к ним! Скорее! Что я хотела сделать? Помочь Нюргуну? Вряд ли он нуждался в моей помощи. Остановить поединок? Каким образом?! Но вибрации нити, от которых по Трехмирию катились волны временного хаоса, еще звучали во мне.

Нить вела к бойцам.

Я должна была что-то сделать, и я снова врезалась. К счастью, не так сильно, как в первый раз. Незримая преграда чуть прогнулась и отшвырнула меня прочь, словно я налетела на упругий живот исполинского толстяка. Вновь лежа на спине, я видела, как боотуры сошлись. Нюргун сделался больше; еще больше! Это было чудо, и я видела это своими глазами!

«Он слишком хорош, – пятнадцать лет назад сказала я Юрюну, мальчишке с круглым, блестящим от пота лицом. – Он лучший, самый лучший. Когда он расширяется, он не знает границ. Это скверно, малыш, очень скверно. Ты уж поверь мне на слово, ладно? Но это полбеды – если он, сильный, схватится с другим сильным, противник Нюргуна тоже теряет границы. Выходит из берегов, понял? А сила – такая упрямая штука... Если где-то прибудет, где-то обязательно убудет.» Не думаю, что Юрюн мне поверил. И убеждена, что

он ничегошеньки не понял. Я и сама тогда мало что понимала. Повторяла то, о чем предупреждали меня родители. Примеряла слова к гримасам воображения. Размышляла, как это выглядит, если вдруг произойдет.

Вот, произошло.

Расширившись до полного вооружения, боотур больше не растёт. Доспех – его предел. Но тело Нюргуна, тело пленника оси миров, ненавидело пределы лютой ненавистью. Лишь Юрюн мог остановить брата, принудить к чему угодно, и Нюргун безропотно починился бы. Но Юрюна здесь не было, а значит, Нюргун был свободен. Он не позволил бы обуздать себя и самой природе. Собственно, он и не позволял: рос, рос, рос.

Когда мой брат взмахнул мечом, адьярай с быстротой рыси, хватающей белку, закрылся щитом. Его фигура сделалась зыбкой, распалась на три смутные тени – и такой же тенью скользнул по щиту меч Нюргуна. Ни лязга, ни грохота, ни искр – едва слышный шорох, и всё. Лишь порыв горячего ветра растрепал сальные космы Эсеха Харбыра, падавшие адьяраю на лицо. Ну конечно же, это Эсех Харбыр, Хозяин Трёх Теней, похититель Айталын! «Девочка в беде, – просила мама отца. – Мне надо знать, что с ней.» «Нюргун отправился в погоню, – требовал Мюльдюн. – Открой мне короткую дорогу. Я пойду на выручку.» Словно в насмешку, вместо них здесь оказалась я.

Адьярай победно расхохотался. Заноса кривой болот для

ответного удара, он тоже сделался больше. Каменная утроба Нижнего мира опасно затряслась, и вместе с ней пошли плясать-выкаблучиваться Эсеховы тени, издеваясь над одиноким Нюргуном.

«Да он же мальчишка! – догадалась я, следя за Эсехом. – Щенок, вчера из Кузни! Проклятье, зачем ему Айталын?»

Меч адьярая залихватски присвистнул; я встряхнулась и прынула ввысь. Воздух сделался плотным, вязким. Я с усилием отталкивалась, сминала его крыльями, буквально карабкаюсь вверх по колеблющимся скалам. Бойцы подо мной двигались, как под водой, с медлительностью жирных рыб. Соперничая с Нюргуном, Эсех продолжал расти. Уродливый, обросший грязным клочковатым мехом доспех таял на нем, вытягивался в тело. Я видела такое множество раз, когда вооруженный боотур усыхал, становясь безоружным боотуром, а там и обычным человеком. Но я и не подозревала, что увижу, как вытягивается доспех в боотура, продолжающего расширяться!

Хищно изогнутый клинок болота побледнел, утратил блеск, истончился. Казалось, тело юного адьярая вытягивает в себя все, с чем соприкасается, отбирает рукотворную силу оружия, наращивая грубую телесную мощь. Когда болот наискось полоснул по голой – голой! – груди Нюргуна, я вскрикнула.

Время взбрыкнуло и понеслось вскачь. Меня швырнуло ввысь – туда, куда я только что с таким трудом взбиралась.

Чудом я успела заметить: Нюргун стоял невредим. Меч адьярая не оставил на нем даже царапины. Моего брата словно хлестнули не заостренным металлом, а струей воды или холодного воздуха. Я упала на них сверху и опять ударилась в скорлупу-невидимку. Кувыркнулась на камни: толчок подбросил меня вверх. Успев распахнуть крылья в нужный момент, я взлетела, выравнила полет. Еще заход; еще. Справа; слева. Колотушкой в бубен я билась в проклятый барьер, крича от боли, и каждый раз он отбрасывал меня прочь. Ни щели, ни бреши, ни обходного пути. А там, внутри беспощадного кокона, в сердцевине кипящего яйца, Нюргун продолжал сражение с ребенком-адьяраем. Мечи, копыя, ножи – все исчезло, втянулось в мокрые, напряженные тела поединщиков. Истаяли доспехи, шлемы, щиты. Тела, вздувшиеся буграми чудовищных мышц, жрали все подряд. Последней они поглотили одежду.

Теперь бойцы сражались нагишом.

Эсех ухватил камень величиной с быка и швырнул в Нюргуна. В броске крылась мальчишеская похвальба: так детвора бросает плоскую гальку, соревнуясь, чей голыш дольше проскачет по воде. Камень угодил Нюргуну в живот. Нюргун крикнул и шагнул прямо на Эсеха. Они схватились врупкопашную, охаживая друг дружку по ребрам кулаками. Каждый боец был похож на мастера Кытая, который вдруг решил в два молота перековать боотура заново, по второму разу. Тени адьярая व्यюном вертелись подле дерущихся: пытались

отвлечь, заморочить Нюргуна.

Я судорожно огляделась, ища подсказку: что делать? Как их остановить? Кругом громоздились угольно-черные скалы. Багрово полыхала огненная расселина. За грудой корявых валунов в луже запекшейся крови валялась безголовая туша змея-урода. Ага, вот и головы. Но никаких подсказок, ничего, что могло бы натолкнуть на верную мысль. И Айталын нигде не видно. Прости, сестренка, сейчас нет времени тебя искать.

Я бросила взгляд на сражающихся исполинов – и увидела, что я здесь не одна.

* * *

*Распахнулся темный провал,
Словно зияющее жерло
Чудовищной дымоходной трубы.
Оттуда вылетела, свистя,
Перьями кованными звеня,
С хищно изогнутыми когтями
На медных лапах кривых,
Взмыла птица огромная...*

Над другим краем поля битвы кружила птица, непохожая на птицу. Эксэю²³, узнала я. Вот уж не ожидала встретить!

²³ Волшебная птица, облик некоторых удаганок Нижнего мира.

Эксэкую трясла мягким гребнем, растущим там, где у других пернатых бывает хохолок, широко разевала клюв, а вернее, пасть, полную острых зубов, схожих с наконечниками для стрел, и вопила так, что хотелось оглохнуть. Казалось, что эксэкую – боотур, выходец из безумной Кузни, где кузнец-сумасброд расплавил все перья гостьи, словно бляшки доспеха, и сковал заново, в виде тонкой кожистой пленки, туго натянутой от поджарых боков к чудовищно длинным пальцам передних конечностей. Выпячивая грудь, похожую на острый нос лодки, эксэкую снова и снова билась в преграду, отделявшую ее от бойцов. Как и я, она не могла поверить, примириться с тем, что кто-то исключил для нее вмешательство в сражение. Так рвутся защитить птенца или сына.

Ее поведение отрезвило меня.

– Не надо! – закричала я. – Перестань, Чамчай!

Эксэкую услышала. Журавлиное курлыканье было для нее тем же, чем были для меня ее истошные вопли – словами речи, исполненной смысла.

– Не надо, – повторила я. – Бесплезно.

Две сестры, две удаганки, мы парили в черных, содрогающихся небесах Нижнего мира. Между нами не числилось кровного родства, только долгие годы дружбы. Лишь сегодня я ощутила Чамчай сестрой в полной мере. Два брата объединяли нас в единое целое. Нюргун, младший брат Айыы Умсур, дочери Сиэр-тойона и солнечной Нуралдин-хотун. И

Эсех Харбыр, младший брат Куо Чамчай²⁴, дочери Арсана Дуолая, прозванного Земляным Пузом, и Алы Буурай, хромой на обе ноги. То, что у стерха клюв, а у эксэю – пасть, значило куда меньше, чем то, что Нюргун и Эсех собрались прикончить друг друга, прикончить любой ценой, даже ценой гибели всего и всех, а мы, пара жалких пичуг, не могли этому помешать.

– Делай, как я! – донеслось до меня.

Прекратив бесплодные попытки взломать барьер, эксэю опустилась на край горбатого, обглоданного ветрами утеса. В облике зубастой птицы проступило знакомое мне обличье Чамчай; впрочем, вряд ли оно было сильно привлекательней летающего кошмара. Жизнь в Нижнем мире – ветры, грызущие утес. Щербинка за щербинкой, впадинка за впадинкой. Отваливается камешек, на его месте нарастает короста лишайника. Ты и опомниться не успеваешь, как изменения, поначалу – ерунда, пустяки, плюнуть и растереть, в конце концов настигают тебя, окружают голодной волчьей стаей и валят на землю. С земли ты встаешь чудовищем и больше не интересуешься тем, как ты выглядишь. Почему? Ну хотя бы потому, что никто не считает себя чудовищем, а значит, чудовищами тебе кажутся все остальные.

– Делай, как я!

²⁴ Куо Чамчай (Красавица Хвастливая), она же Кыс Кыскыйдан (Девка Визгливая) – сестра Уота Усутаакы и Эсеха Харбыра. В книге сливается в единый образ с другой сестрой указанных боотуров – удаганкой Ытык Хахайдан.

В пальцах Чамчай возник бубен. Я потянулась за своим. Обод из дерева, расщепленного молнией. Кожа молодого лоса. Железная ручка, березовая крестовина. Колокольцы, погремушки, бубенцы. На ободке – дюжина бугорков разной величины. Между ними натянуты жилы тельца. Говорят, бубен – панцирь шамана. Так или иначе, мне не требуется носить его с собой: он всегда здесь, как оружие боотура, прошедшего Кузню. Еще говорят, что бубен – это конь заклинателя. А я говорю, что бубен – это часы, которые идут так, как мне угодно.

Вот и колотушка. Сколько раз я обшивала ее новым оленьим камусом? Не помню. Стерлось из памяти; всегда, как впервые.

Гора, подумала я. Гора на моих небесах. До недавних пор – тюрьма Нюргуна. И слышала: стрекот. Стучали колеса, вертелись колеса, зубец цеплялся за зубец. Вы еще помните, что значит ритм? Механизм работал, а значит, оставалась надежда. Вслушиваясь в пульс далекой горы, я тронула бубен колотушкой. И снова. И опять. Я воссоздавала пульс заново.

На далеком утесе трудилась Чамчай.

* * *

*Твердыня белых
Гремящих небес*

*Колеблется и дрожит!
Этот незыблемый прежде мир
Содрогается всею толщей своей,
Прогибается хребтиной своей.
Бедственный Нижний мир,
Переливается через край,
Как опрокинутая лохань...*

– Доом-эрэ-доом²⁵! Доом-эрэ-доом!

Давным-давно, за гранью древних лет, под восьмым уступом края небес – короче, в жизни, которую я вычеркнула из памяти, чтобы не мучиться отчаянием, – меня учили музыке. Я играла на инструменте, который здесь сочли бы волшебством или обиталищем духов. Рядом с бубном или хомусом... Нет, лучше не вспоминать. Ритм, метр, темп – я уже и не скажу, чем они отличаются друг от друга. Но я еще помню, что ритмическую структуру образуют сильные и слабые доли, чередуясь во времени. Между звуками и паузами, между длительностями разной величины возникают временные отношения. Сильные и слабые доли сходятся, встречаются, влюбляются, вступают во временные отношения, зачинают детей – причины и следствия. В коконе, где бились Нюргун с Эсехом, слабых долей не было – только сильные, сильные, очень сильные. Такой ритм не мог существовать долго; да что там – он не мог существовать вообще!

И все же он существовал.

²⁵ Звукоподражание ударам шамана колотушкой о бубен.

Трудясь в два бубна, мы с Чамчай обволакивали кокон дополнительным слоем – ритмом живой природы, где есть место слабым долям. Так лекарь обкладывает язву примочками в надежде, что она рано или поздно зарубцуется. Из кокона в нас било чудовищное напряжение. Оно росло, и я начала бояться, что бубны не выдержат. Выдержим ли мы? О, за нас я не боялась: смерть – самое безопасное в мире место. Напряжение росло, и они тоже продолжали расти: Нюргун и Эсех. Они росли и дрались, дрались и росли.

– Доом-эрэ-доом! Доом-эрэ-доом!

Ритм музыки не может быть образован длительностями одинаковой величины – только разной. Нюргун уравнивался с Эсехом, и тут же вырывался вперед, чтобы Эсех догонял его. Кулаки долбили в животы и груди, пальцы впивались во вздувшиеся загрибки. Лоб в лоб, как два быка, и гром сотрясал утесы, грозя сбросить нас с Чамчай на острые камни. Сильные, сильные, сильные доли. Доля, подумала я. Судьба. Мне было страшно даже представить, чем аукнется эта битва под землей, на земле и в небесах, сколько их ни насчитай. Выкидыши. Оползни. Ураганы. Наводнения. Засуха. Ливень. Реки лавы. Рождение уродов. Я вообразила оркестр, где один музыкант близится к финалу, другой продолжает играть вступление, а третий еще только взял первую ноту. Я едва не оглохла от этой какофонии.

И впервые увидела, как горит время.

Вокруг Нюргуна с Эсехом, между ними замелькали чер-

ные вспышки. Сперва я решила, что у меня темнеет в глазах. Мокрые от пота борцы сходились и расходились, хватали и бросали, били и уворачивались, но в их движениях наметился странный разлад. Словно кто-то без зазрения совести вычеркивал часть действий, говорил случившемуся: «Этого не было!» – и черная вспышка пожирала усилие, событие, поступок. Так мы видим танец в темноте, когда мигает костер, вспыхивает и гаснет. Плавность превращается в рванину, текучесть в дробный перескок. Из поединка с корнем выдирались мгновения, сгорали в черном огне – и удар достигал цели раньше, чем следовало бы, а кровь из разбитого носа засыхала прежде, чем успевала выплеснуться на губу.

Такт – расстояние от одной сильной доли до другой. Когда вспыхивало время, сгорало и пространство. Ближе, дальше – все утратило смысл. Как понять, что отделяет сильного от сильного? Чем измерить это расстояние?! Хрустом суставов?!

– Доом-эрэ-доом! Доом-эрэ-доом!

Время горело в коконе. Я била в бубен, Чамчай била в бубен, Эсэх и Нюргун били друг друга. От черных вспышек кружилась голова, к горлу подступала тошнота, и поэтому я не сразу заметила, что в коконе все изменилось.

Драчуны остались прежними, но только драчуны.

Песня пятая

*Слышите, богатыри!
Видите или нет?
Какой же толк мне идти назад,
Такой великий путь проторив?
Смеяться будете вы надо мной,
Что я врага в лицо не видал,
Только имя врага услышал,
Испугался и побежал...*

«Нюргун Боотур Стремительный»

1. Рассказ Айыы Умсур, Вышней Удаганки, старшей дочери Сиэр- тойона и Нуралдин-хотун, о великой битве Нюргуна Боотура Стремительного с Эсехом Харбыром, Хозяином Трех Теней (продолжение)

*Вдруг, схватившихся намертво, их
Сила некая подняла,
По воздуху понесла,
Только ветер завыл в ушах,
Опустила на землю их*

*На серебряном склоне горы святой,
Где месяц рождается молодой...*

В темной бездне плыл, отблескивая металлом, острый клык чудовища. Из немыслимой дали тускло, будто сквозь туман, светили звезды. Дряхлые старцы, они подслеповато шурились, силясь разглядеть, что же творится на поверхности вырванного с корнем зуба – нет, на склоне скалы-колосса, выкованной, казалось, из цельного куска серебра!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.